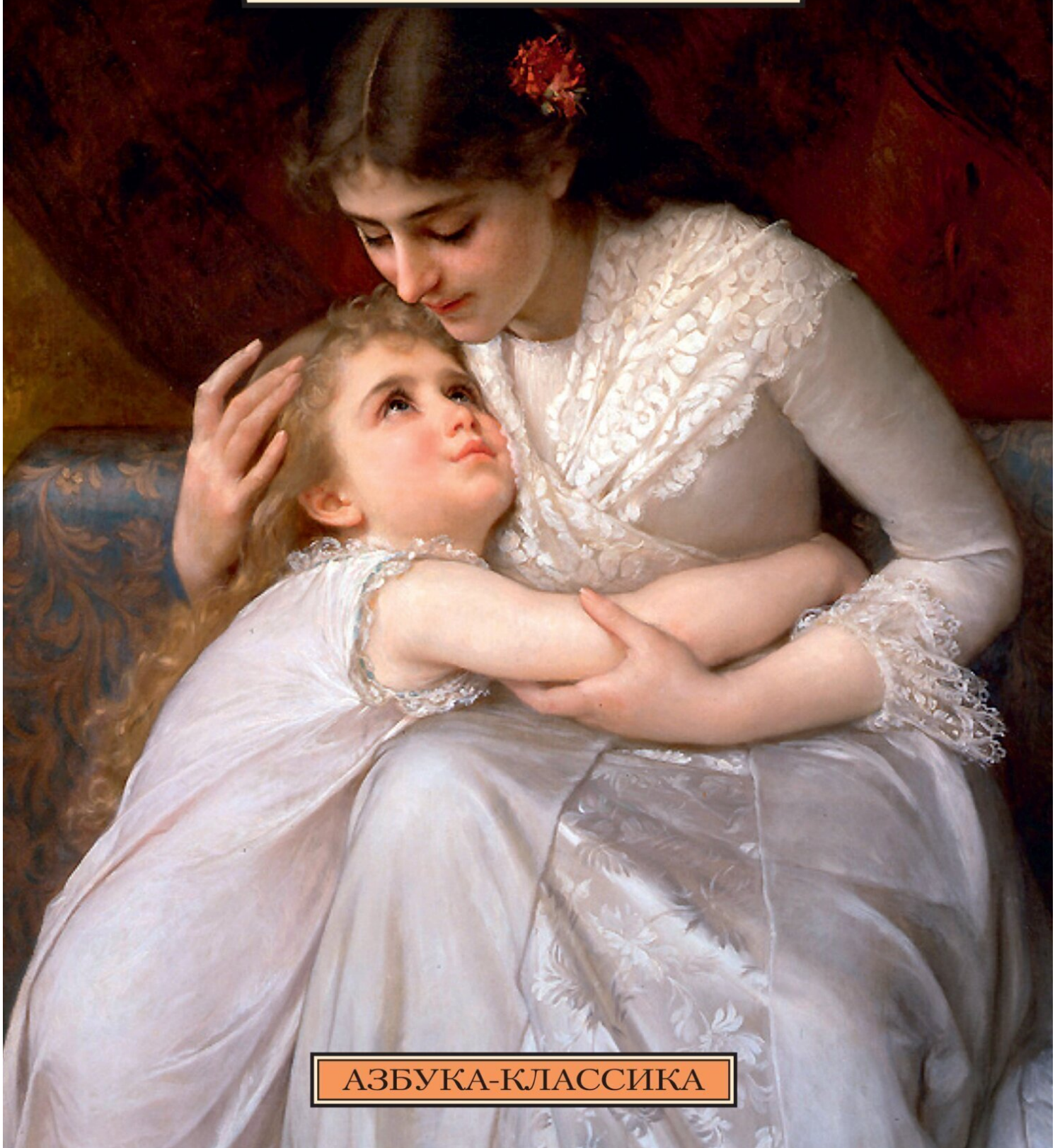


ЭЛИЗАБЕТ
ГАСКЕЛЛ

Рука и сердце

АЗБУКА-КЛАССИКА



Азбука-классика

Элизабет Гаскелл

Рука и сердце

«Азбука-Аттикус»

1865

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Гаскелл Э.

Рука и сердце / Э. Гаскелл — «Азбука-Аттикус»,
1865 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-23187-0

Элизабет Гаскелл (1810–1865) принадлежит к яркой плеяде прославленных английских романистов и, наряду с Шарлоттой Бронте, занимает самое почетное место среди «литературных леди» Викторианской эпохи, а ее произведения признаны шедеврами мировой классики. В их числе романы «Мэри Бартон», «Крэнфорд», «Север и Юг», «Жены и дочери» и др. В настоящем сборнике представлена «малая проза» автора, собрание рассказов, написанных в разные годы жизни, на страницах которых оживают картинки из жизни «старой доброй Англии». Это самые разные истории – поучительные, мистические, трогательные и курьезные, – в которых переплетаются сквозные темы и сюжеты творчества Элизабет Гаскелл: тайны человеческого сердца и загадочные предначертания рока, который управляет судьбой; извечное противоборство чувства и долга; способность творить добро и зло, в равной мере присущие человеку, и ответственность за свои поступки, а вместе с этим и неизбежность расплаты; сила любви и веры в Бога, дарующая спасение и противостоящая судьбе. Большая часть рассказов, включенных в сборник, публикуется на русском языке впервые.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-23187-0

© Гаскелл Э., 1865
© Азбука-Аттикус, 1865

Содержание

Рука и сердце	7
Лиззи Ли	18
Глава первая	18
Глава вторая	25
Глава третья	30
Глава четвертая	35
Сердце Джона Миддлтона	39
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Элизабет Гаскелл

Рука и сердце

© В. Н. Ахтырская, перевод, 2023

© Л. Ю. Брилова, перевод, 2023

© О. Р. Демидова, перевод, 2023

© И. Ю. Куберский, перевод, 2023

© Н. Ф. Роговская, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Рука и сердце

– Мама, как бы я хотел иметь много денег, – сказал однажды вечером маленький Том Флетчер, сидя на скамеечке у ног матери. Она сосредоточенно вязала при свете камина, и некоторое время оба были погружены в молчание.

– А что бы ты с ними делал, будь они у тебя?

– Ну, не знаю – много чего. Но разве тебе не хотелось бы иметь много денег, мама? – настойчиво спросил он.

– Возможно, – ответила миссис Флетчер. – Мне, как и тебе, тоже иногда хочется, чтобы их было побольше. Но в отличие от тебя я всегда знаю, на что бы их потратила. Мне никогда не хочется денег ради денег.

– Но, мама, будь у нас деньги, мы могли бы сделать столько нужного и хорошего.

– Что ж, ради нужного и хорошего, чего без денег не сделаешь, я вполне разделяю твоё желание. Но, мальчик мой, ты ведь не сказал мне, что бы это могло быть.

– И правда! Наверное, я и не думал ни о чем таком, а просто мечтал иметь деньги, чтобы делать то, что хочется, – чистосердечно признался Том, взглянув на мать снизу вверх.

Она улыбнулась ему и погладила его по голове. Он понял, что порадовал ее, откровенно признав, что у него на уме. Через некоторое время он вновь спросил:

– Мама, а как бы ты поступила, если бы хотела сделать что-то нужное и хорошее, но без денег не могла бы?

– Есть два способа: заработать и сэкономить. И тот и другой хороши, потому что в обоих случаях следует ограничивать себя. Видишь ли, Том, если ты хочешь заработать деньги, тебе придется упорно заниматься тем, чем, возможно, не хотелось бы, например работать, когда ты предпочел бы играть, или спать, или просто разговаривать со мной у камина. Ты отказываешь себе в этих маленьких удовольствиях, что само по себе хорошая привычка, не говоря уж о том, скольких сил и упорства потребует работа. Экономия, как нетрудно понять, тоже требует самоограничения. Ты отказываешь себе в каком-то желании, чтобы сохранить деньги, которые пришлось бы на него потратить. И поскольку самоограничение, упорство и труд в равной мере похвальны, зарабатывая или экономя деньги, ты делаешь благое дело. Однако следует помнить и о цели, ради которой они тебе требуются. Вот ты говоришь, на что-то нужное и хорошее. В этом случае оба способа одинаково благочестивы. Однако прежде, чем выбрать один из них, я должна подумать, не помешает ли он мне выполнять другие обязанности.

– Что-то я тебя не понимаю, мамочка.

– Попытаюсь объяснить. Я ведь держу небольшую лавку, и вяжу чулки на заказ, и убираю дом, и чиню нашу с тобой одежду, и много еще чего делаю. Как ты думаешь, я бы не пренебрегла своим долгом, если бы по вечерам, когда ты возвращаешься из школы, уходила обслуживать приемы, которые устраивают наши дамы? Я могла бы неплохо заработать, и эти деньги пошли бы на тех, кто беднее меня (например, на хромого Гарри), но тогда я оставляла бы тебя одного в те немногие часы, которые мы можем провести вместе, и думаю, что было бы неправильно покидать тебя по вечерам ради заработка, пусть и для «нужной и хорошей» цели, как полагаешь?

– Еще как неправильно; ты ведь не сделаешь этого, мамочка?

– Нет, – с улыбкой ответила она, – по крайней мере, пока ты не подрастешь. Как видишь, заработать я сейчас не могу, если захочу помочь больному соседу. В таком случае мне следует попытаться сэкономить. А это почти каждому под силу.

– И нам, мама? Мы ведь живем так скромно. Нед Диксон называет нас скарёдами – на чем же мы можем сэкономить?

– О, на всяких мелочах. Мы позволяем себе кое-какую роскошь не по необходимости, а ради удовольствия. Чай и сахар – масло – бекон или мясо для воскресного обеда – серую ленту, которую я купила для шляпки, потому что она показалась тебе красивее, чем черная, которая была дешевле. Все это роскошь. Правда, чаю и сахару мы покупаем совсем немного, но могли бы и совсем без них обойтись.

– Ты без них и обходилась, и очень долго, помнишь, чтобы помочь вдове Блэк, и у тебя голова начала болеть.

– Ну так что ж! Все-таки экономия нам доступна. Пенни или полпенни в день, даже пенни в неделю позволят собрать то, что можно будет, когда понадобится, потратить с «нужной и хорошей» целью. Однако, мальчик мой, что-то мы слишком долго говорим о деньгах, словно без них нельзя делать добрые дела.

– Наверное, можно, но все равно они – самое главное.

– Нет, дорогой, не самое. Я была бы невысокого мнения о бедняке, больше ценящем подачку, брошенную с руганью (мне случалось такое слышать), чем отказ, сопровождаемый добрым и ласковым словом. Грубое слово глубоко ранит сердце, а если нет, значит дурное обращение успело ожесточить его. Деньги сами по себе не способны утешить в скорби – утешение приносит лишь доброта. А проявить ее может каждый, даже двухлетнее дитя, едва научившееся ходить.

– А я могу?

– Несомненно, милый, и ты часто это делаешь, хотя, может быть, не столь часто, как мог бы. Да и я тоже. Почему бы тебе, вместо того чтобы мечтать о деньгах (которых у нас с тобой вряд ли когда-нибудь будет много), не попробовать завтра доставить людям радость, помогая им, чем можешь? Давай последуем словам апостола: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе».

– И правда, давай.

Рассказать ли, каким было «завтра» маленького Тома?

Мне неизвестно, снилось ли ему то, о чем они с мамой говорили вечером, знаю только, что, пробудившись утром, он прежде всего вспомнил ее слова о том, что нужно попробовать делать добрые дела без денег; ему так не терпелось начать, что он вскочил с постели и оделся на час раньше обычного. Его не оставляла мысль, что же маленький мальчик вроде него, восьми лет от роду, может сделать для других, и наконец он пришел в полное замешательство и принял мудрое решение прекратить изобретать способы творить добро, а просто как следует выучить уроки – это первое, что нужно сделать, а уж потом он попытается, не строя заранее никаких планов, подготовиться к тому, чтобы протянуть кому-нибудь руку помощи или сказать доброе слово, как только потребуется. И он тихонько уселся в уголке, чтобы не мешать маме убирать комнату, поставил ноги повыше на перекладину стула, повернулся лицом к стене и через час с легким сердцем развернулся назад, зная, что урок твердо выучен и у него еще осталось время до завтрака для других занятий. Он оглядел комнату: мать тщательно ее прибрала и теперь ушла в спальню, но в совке не было угля, а в бидоне воды, и Том выбежал на улицу, чтобы наполнить их, а возвращаясь от колонки, увидел, что Энн Джоунз, известная своей сварливостью, развешивает белье на протянутой через дворик веревке, и услышал, как она громко и сердито ругает свою дочь, заметив, что та собирается напроказить в кухне.

– Вот уж воистину у меня не дети, а наказание Божье! – воскликнула Энн, направляясь в дом с покрасневшим от раздражения лицом. В следующую минуту раздался шлепок, после которого девчушка вскрикнула от боли.

«А что, если я войду и предложу поиграть с малюткой Эстер и приглядеть за ней? – подумал Том. – Энн Джоунз, конечно, страшно разозлилась и наверняка заподозрит недоброе, но, пожалуй, уши мне не надерет и пощечин не надаст, потому что моя мама столько дней нянчила ее Джереми, когда он болел. Ну хоть попробую».

И с сильно бьющимся от страха сердцем он обратился к разъяренной миссис Джоунз:

– Пожалуйста, позвольте мне войти и поиграть с Эстер. Может быть, мне удастся занять ее, пока вы развешиваете белье.

– Еще чего! Чтобы ты болтался по дому и учинял беспорядок, как раз когда я все приготовила для мужнего завтрака! Спасибо, но мне хватает проделок собственных детей, и я не потерплю чужих мальчишек у себя дома.

– Я не хотел учинять беспорядок и проказить, – ответил Том, огорченный тем, что его добрые намерения были неверно истолкованы. – Я только хотел помочь.

– Хочешь помочь, так подавай прищепки, чтобы мне не наклоняться, а то спина отваливается.

Том предпочел бы играть с маленькой Эстер и забавлять ее, но ведь и с прищепками он может помочь миссис Джоунз, и тогда, наверное, она не будет так злиться на своих детей, если они чем-нибудь отвлекут ее от дела. Да и Эстер уже перестала плакать и явно нашла себе новое занятие (Том надеялся, что на этот раз безобидное); и он принялся одну за другой подавать Энн прищепки, а она, смягчившись, сделалась разговорчивой.

– И как это твоей матери удалось вырастить такого помощника, Том? Ты не хуже девочки, даже лучше; не думаю, что через три года Эстер станет такой же внимательной. (Тут из дому раздались крики малышей.) Вот вам пожалуйста! Опять они за свое; ну, я им покажу! – воскликнула она, в приступе негодования спрыгнув с табуретки.

– Позвольте мне, – принялся умолять ее Том, с ужасом думая о новых жестоких шлепках. – Я поставлю корзинку с прищепками на табуретку, и вам не нужно будет наклоняться; а пока вы работаете, я займу чем-нибудь малышей, чтобы они не шалили. Пожалуйста, тетя Энн, пустите меня к ним.

Недовольно бурча из-за того, что лишается его помощи, она позволила ему войти в дом. Он обнаружил там Эстер, девочку пяти лет, ее младшего брата и сестренку. Они подрались из-за ножа, и Джонни в схватке порезал палец – не сильно, но он испугался при виде крови, а Эстер, вместо того чтобы помочь ему, хоть ей и было его жаль, стояла, надувшись, в стороне, страшась упреков, которыми осыпала ее мать, когда кому-то из младших, оставленных под ее присмотром, случалось пораниться.

– Эстер, – попросил Том, – принеси мне, пожалуйста, холодной воды, ею лучше всего остановить кровь; и не могла бы ты отыскать для нее миску?

Эстер побежала выполнять просьбу, польщенная доверием Тома. Когда кровь почти остановилась, Том попросил девочку принести какую-нибудь ткань, и она принялась шарить под комодом в поисках тряпки, которую спрятала там накануне. Тем временем Джонни перестал плакать, заинтересовавшись приготовлениями к перевязке ранки и довольный тем, что сделался важной персоной и центром внимания. Самая младшая девочка сидела на полу, глубоко захваченная происходящим, и таким образом все они успокоились и совершенно забыли о проказах до прихода Энн, которая, развесив белье и покончив с этой частью утренних дел, была готова заняться своими детьми в свойственной ей нетерпеливой и грубоватой манере.

– Ну и ну! Право же, Том, ты со всем справился лучше некуда; вот бы кто-то вроде тебя всегда приглядывал за ними; однако тебе пора бежать, паренек, твоя мама звала тебя, когда я входила в дом, и я обещала отправить тебя домой. До свидания и спасибо тебе.

Когда Том выходил, малышка, все с тем же серьезным видом сидевшая на полу, каким-то образом сумев оценить ласковую помощь Тома, подставила ему губки для поцелуя; в ответ он склонился к ней, совершенно счастливый и исполненный любви и доброты.

После завтрака мама сказала ему, что пора в школу, потому что ей не хочется, чтобы он бегом влетал в класс, запыхавшийся и растрепанный, когда учитель уже готов начать урок; она бы предпочла, чтобы он вошел со спокойным достоинством, с мыслями о том, чем ему предстоит заняться. Так что Том взял шапку и сумку и отправился в путь с легким сердцем,

отчего, наверное, и шаг его был легким, и он уже прошел полдороги, когда до начала занятий оставалось еще четверть часа. Поэтому он замедлил шаг и повнимательнее огляделся вокруг. По другой стороне улицы шла маленькая девочка; в одной руке она несла большую корзину, а другой вела за собой ребенка, едва начавшего ходить; ребенок, должно быть, устал, потому что жалобно плакал и через каждые два-три шага садился на землю. Том быстро перебежал через дорогу, поскольку, как вы, я думаю, догадались, он очень любил малышей и не выносил их слез.

– Девочка, почему он плачет? На ручки хочет? Я возьму его и понесу, пока нам по дороге.

Сказав это, Том намеревался привести план в исполнение, но ребенок предпочитал, чтобы его несла сестра, и не принял любезности Тома. Тогда Том забрал у девочки тяжелую корзину с картошкой и нес ее, пока пути их совпадали, а перед расставанием девочка поблагодарила его, попрощалась и сказала, что теперь она сама справится, потому что до дому совсем недалеко. И Том, умиротворенный и счастливый, отправился в школу, где заслужил похвалу за хорошо выученный урок, о чем рассказал матери, вернувшись домой.

Случилось так, что это был короткий день, и после школы у Тома оказалось много свободного времени. Разумеется, после обеда он прежде всего выучил уроки на завтра, а потом, убрав книги в сумку, задумался, чем бы ему еще заняться.

Он праздно стоял, прислонившись к двери и предаваясь всяким пустым мечтаниям, к чему был весьма склонен. Он воображал себя то мальчиком, живущим напротив, у которого целых три брата и с ними можно играть в короткие дни; то Сэмом Харрисоном, которого отец однажды покатал по железной дороге; то мальчиком, который всегда ездит на omnibusах, – приятно, должно быть, ехать на ступеньке и видеть столько людей вокруг; а еще он был моряком, отплывающим в страны, где растет дикий виноград и можно ловить обезьянок и попугаев. Как раз в ту минуту, когда Том представил себя принцем Уэльским, едущим в запряженной козами повозке, и размышлял, не будет ли он стесняться покачивающихся у него на шляпе трех больших страусиных перьев, по которым его все сразу узнают, его мама пришла из кухни, где мыла посуду, и увидела его погруженным в глубокую задумчивость, свойственную мальчикам и девочкам, если они единственные дети в семье.

– Том, дорогой, почему бы тебе не пойти прогуляться в такой прекрасный день? – спросила она.

– Ах, мамочка, – ответил он (вдруг снова сделавшись Томом Флетчером, а не принцем Уэльским и слегка заскучав от этого), – гулять одному совсем неинтересно. И поиграть не с кем. Не пойдешь ли ты со мной в поле хоть разочек?

Бедная миссис Флетчер всем сердцем желала бы откликнуться на столь естественное желание своего мальчика, но ей пора было в магазин, да и других дел хватало, и пришлось отказаться. Однако, если она и сожалела об этом, твердая вера не позволяла ей роптать. Поразмыслив минутку, она бодро сказала:

– Пойди погуляй в поле и поищи для меня полевых цветов; когда вернешься, я достану папин кувшин, и ты их туда поставишь.

– Но, мама, рядом с городом так мало красивых цветов, – с некоторой неохотой ответил Том, еще не смилившийся с утратой положения принца Уэльского.

– Боже правый, да их там очень много, если приглядеться. Думаю, ты найдешь не меньше двадцати разных цветов.

– Маргаритки подойдут?

– Конечно, они ничуть не хуже остальных.

– Ну, если тебе такие по вкусу, думаю, найду и больше.

И он побежал в поле, а мама смотрела ему вслед, пока он не скрылся из вида, а потом вернулась к работе. Том вернулся часа через два; на щеках его, обычно бледных, расцвел румянец, глаза сияли. Загородная прогулка доставила ему удовольствие, принесла пользу и вернула привычное радостное настроение, чего и хотела его мама.

– Мама, посмотри, тут двадцать три разных цветка; ты сказала, что считаются все, и я посчитал даже вот этот, похожий на крапиву с сиреневыми цветами, и этот простой синий цветочек.

– Это подорожник, он очень красивый, если к нему присмотреться. Один, два, три... – Мама пересчитала цветы – их действительно было двадцать три.

– Мамоchка, они тебе очень нравятся? – спросил Том.

Она не поняла, почему он спрашивает, но ответила:

– Конечно.

Том помолчал немного и еле слышно вздохнул.

– В чем дело, дорогой?

– Ни в чем, просто я подумал, можно было бы отнести их хромоту Гарри, он же не может гулять в поле и не знает, как там красиво летом. Хотя если они тебе так нравятся...

– Очень мило; я рада, что ты о нем вспомнил.

Хромоту Гарри сидел совсем один в подвале соседнего дома. Он притерпелся к одиночеству, потому что его дочь, у которой он жил, работала на фабрике.

Цветы и в поле были красивы, а уж в подвале, куда их доставил Том, они казались в десять раз красивее. При виде букета глаза хромого Гарри заблестели от удовольствия, и он принялся рассказывать о давних временах, когда мальчонкой выращивал лечебную полынь и желтофиоль в отведенном ему уголке отцовского сада. Том налил в кувшин воды и поставил цветы на стол рядом с Гарри; там же лежала оставленная для него дочерью старая Библия, страницы которой истончились от многократного, хотя и благоговейного употребления. Книга была открыта, а очки в роговой оправе отмечали то место в тексте, на котором Гарри остановился.

– Сдается мне, очки малость поизносились: стекла не те, что прежде, буквы расплываются перед глазами, и глаза начинают болеть от долгого чтения, – сказал Гарри. – Плохо, когда больше не можешь читать. Раньше-то я не замечал, как время летит, а теперь едва могу дождаться конца дня, хотя ночью тоже плохо: ноги так ноют, что не уснуть. Но на все Божья воля.

– Если хотите... я не слишком хорошо читаю вслух, но буду изо всех сил стараться, если вы позволите мне почитать вам. Я только сбегая домой, выпью чаю и тут же вернусь. – С этими словами Том умчался.

Ему очень понравилось читать вслух хромоту Гарри, потому что старик мог рассказать много интересного и был рад обрести слушателя, так что, мне кажется, в тот вечер разговоры заняли ничуть не меньше времени, чем чтение. Но темы для разговоров задавала Библия: в своей долгой жизни старый Гарри видел и слышал много чего, что он связывал с событиями, предсказаниями и заповедями из Священного Писания, и Том с любопытством следил за тем, как рассказы старика совпадают с текстами, которые они читали, дополняя их примерами из жизни.

Когда Том собрался уходить, хромоту Гарри горячо поблагодарил мальчика за то, что тот скрасил старику вечер, и заверил, что сон его в эту ночь будет крепким и безмятежным. Том вернулся домой весьма довольный собой и признал:

– Мама, ты все правильно сказала: добро можно творить и без денег. Я сегодня совершил столько добрых дел, не имея ни фартинга. Сначала, – тут он загнул мизинец, – я помог Энн Джоунз развесить белье, когда...

Слушая его рассказ, мама листала Новый Завет и, найдя нужную страницу, ласково обняла Тома и притянула его к себе. Он прочел то место, которое она отметила: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая», – и умолк.

В следующую минуту мама негромко произнесла ласковым голосом:

– Дорогой мой Том, мне не хочется говорить об этом, потому что ты только исполнил свой долг, но я рада, что ты убедился, насколько больше может сделать любящее сердце, чем просто рука, дающая милостыню; а доброе сердце есть у каждого.

Я рассказала об одном дне из жизни Тома, когда ему было восемь лет и он жил с мамой. Теперь перейду к совершенно иной жизни, которую ему пришлось вести по прошествии года. Мама его никогда не отличалась крепким здоровьем; испытал много горестей, она захворала и вскоре почувствовала, что надежды на выздоровление нет. Долгое время мысль о том, что ей придется покинуть своего мальчика, причиняла ей страдание и была испытанием для ее веры. Но Бог укрепил ее и умиротворил ее душу, и перед смертью она приготовилась передать свое любимое дитя в руки Того, кто Отец всех сирот и судия вдов.

Чувствуя, что дни ее сочтены, она послала за братом своего мужа, жившим за много миль в городе, и вручила ему судьбу маленького Тома со словами:

– У меня есть немного денег в банке – не знаю, сколько именно, – и кое-что можно выручить за мебель и товары в магазине; надеюсь, этого хватит, чтобы обучить его столярному делу, чтобы пошел по стопам отца.

Она говорила прерывисто и с трудом. Ее деверь, человек простой и грубоватый, был глубоко тронут и всеми силами стремился облегчить ее последние минуты; в память о своем покойном брате он пообещал исполнить ее волю.

– Я возьму его к себе после...

Он хотел сказать «после похорон», но не произнес этого слова, однако она поняла его и ласково улыбнулась.

– Боюсь, мы не станем с ним особенно нежничать, но обещаю присмотреть за ним и уберечь от греха. Мои-то ребятишки поглубже будут, но ему это только на пользу пойдет – слишком уж он чувствительный для парня, а станут его обижать – я им задам, уж не сомневайся.

Не такие слова хотела бы она услышать, но речь его шла от сердца, и она была благодарна за то, что сын ее обретет такого друга и защитника. И возблагодарив Бога за радости, выпавшие ей на долю, и за печали, научившие ее смирению, и за жизнь, и за смерть, она скончалась.

Брат ее мужа сделал все по ее желанию. После тихих скромных похорон он взял Тома за руку, и они пешком отправились в путь. Им предстояло пройти шесть миль; в дороге Том плакал, пока совсем не выбился из сил, но каждый раз, проходя мимо какого-нибудь знакомого дома, куста боярышника или дерева, вновь разражался рыданиями. Дяде было искренне жаль мальчика, но он не знал, что сказать ему в утешение.

– Послушай, паренек, дай мне знать, если братья тебя обидят. Только скажи – и им мало не покажется.

Том ужаснулся при мысли о том, что же это за братья такие, хотя до слов дяди с радостью предвкушал встречу с ними. Настроение его не улучшилось, когда, пройдя несколько улиц и проулков, они оказались во дворе с неприглядными домишками и дядя открыл дверь одного из них, откуда доносился звук очень громких, хотя и незлобных голосов.

Высокая крупная женщина, резким движением отталкивая от себя одного ребенка, гневно выговаривала другому – мальчику чуть постарше Тома, который слушал ее с угрюмым видом.

– Вот расскажу про тебя отцу, – пригрозила она и, повернувшись к дяде Джону, принялась изливать ему свои жалобы, не обращая ни малейшего внимания на Тома, ухватившегося за дядину руку, словно в поисках защиты от открывшейся перед ним угрожающей картины.

– Да ладно тебе, жена! Ну, выпорю Джека, если еще раз выльет всю воду, а пока дай-ка нам с этим парнишкой чаю – что-то мы притомились в дороге.

Тетя, казалось, была бы рада, если бы Джека выпороли немедленно, и разгневалась на мужа за то, что он тут же не оплатил мальчишке за причиненный ей ущерб, назло выпустив всю воду как раз накануне стирки. С недовольным ворчанием мать семейства перестала соби-

рать воду с пола и направилась к очагу, чтобы заново разжечь его и вскипятить чайник, не сказав ни слова приветствия ни племяннику, ни мужу. Вместо этого она возмущалась, что опять нужно готовить чай, когда огонь почти потух, а в доме нет ни капли воды для чайника. Муж ее потерял терпение, и Том испугался, услышав его резкую отповедь.

– Коль мне в своем доме чаю не дают спокойно выпить, пойду-ка я в «Орел» и Тома с собой прихвачу. Там-то уж огонь всегда горит, чего бы это ни стоило, и никаких сварливых жен. Пошли, Том.

Все это время Джек, стоя за спиной матери, изо всех сил пытался привлечь внимание Тома: кривлялся и корчил рожи, а теперь сделал вид, что пьет из воображаемого стакана. Но Том не отходил от дяди и потихоньку снова усадил его на стул, с которого тот вскочил, намереваясь пойти в паб.

– Простите, мэм, – обратился мальчик к тетушке, огорченный и напуганный ею. – Если позволите, я мог бы сходить за водой.

Она пробормотала нечто вроде согласия, и Том взял чайник и, невзирая на усталость, отправился к колонке. Джек, безобразничавший весь день, застыл от изумления, но в конце концов пришел к заключению, что его двоюродный брат просто «мямля».

Вернувшись, Том попытался раздуть огонь сломанными мехами, и наконец вода в чайнике закипела и чай был заварен.

– Ты на редкость толковый мальчишка, Том, и польза от тебя есть, – заметил дядя. – Не чета нашему Джеку.

Это сравнение не пришлось по вкусу ни Джеку, ни его матери, которая предпочитала самолично направлять недовольство отца в нужную сторону. Том чувствовал, что они к нему не расположены; заняться ему было особенно нечем, разве что поесть и отдохнуть, и он опять загрустил, на глаза ему то и дело наворачивались слезы, которые он смахивал тыльной стороной ладони, чтобы никто не заметил. Однако это не ускользнуло от внимания его дяди.

– Надо было тебе пропустить стаканчик в «Орле», – с сочувствием произнес он.

– Нет, спасибо, я просто устал. Можно, я пойду спать? – ответил Том, которому не терпелось как следует выплакаться наедине с собой под одеялом.

– Где мы его положим? – спросил дядя у жены.

– Твоя родня, ты и думай, – ответила она, все еще обиженная из-за Джека.

– Перестань, жена, ведь он, бедняга, сирота, а сироты всем родня.

Она тут же смягчилась, потому что была доброй женщиной, хотя в тот вечер ее крепко вывели из себя.

– Разве что с Джеком и Диком, другого места нет. С нами малышка спит, а остальным и без него тесно.

Она провела Тома наверх в маленькую заднюю комнату и задержалась на пару минут, чтобы поговорить с ним, потому что слова мужа поразили ее в самое сердце и она сожалела о своем негостеприимстве.

– Джек и Дик не ложатся, пока мы не пойдем спать, да и тогда их не загнать в постель, если вечер теплый, – сказала она, унося свечу.

Том попытался поговорить с Богом, как учила его мама, от всего сердца, которое в тот вечер было исполнено тяжести. Поначалу он думал, что бы она посоветовала ему сказать и сделать, но, припомнив поразившие его в новом доме беспорядок и недобрые чувства, принялся горячо просить Бога направить его на верный путь. С этим он и уснул.

Во сне он вернулся к прежним счастливым дням, будто снова шел с мамой на воскресную прогулку – и тут его сон был безжалостно прерван голосом Джека:

– Эй, парень, чего разлегся поперек кровати? Давай вставай, дай место нам с Диком, а уж потом сам как-нибудь устроишься.

Том, полусонный и сбитый с толку, встал с кровати. Его братья забрались на нее и долго препирались, пытаясь отвоевать побольше места, потом принялись пинать друг друга, а Том все это время стоял рядом, дрожа от холода.

– Тут и так места мало, – сказал наконец Дик, – а они чего-то ради еще и Тома нам подсунули. Ну уж нет, не будет он с нами спать. Пусть на полу ложится, если хочет, ничего ему не сделается.

Он думал, что Том станет спорить, и удивился, услышав, что мальчонка безропотно лег на пол и старается хоть как-то укрыться своей одеждой. Еще немного повозившись, Джек и Дик уснули. Но среди ночи Дик проснулся и по дыханию Тома понял, что тот не спит, а потихоньку плачет.

– Что там еще? В мягкую постельку захотел, неженка?

– О нет – мне все равно – только бы мама была жива, – с громким всхлипом ответил Том.

– Слушай, – после недолгого молчания предложил Дик, – тут у меня за спиной есть место, давай залезай. Да не трусь! Ох, ну и замерз же ты, парень.

Дик сочувствовал Тому в его горе, только не хотел говорить об этом. И все же его заботливый тон тронул сердце Тома, и он опять уснул.

Утром все трое проснулись одновременно, однако не были расположены к разговору. Джек и Дик поскорее натянули одежду и помчались вниз; такое начало дня было непривычно для Тома. Он огляделся в поисках миски или кружки, чтобы умыться, но в комнате не было ничего подобного, даже кувшина с водой. Том оделся, спустился вниз, нашел кувшин и отправился за водой. Братья, игравшие во дворе, подняли его на смех и ни за что не хотели сказать, где взять мыло; Тому пришлось долго его искать. Потом он вернулся в спальню, но, войдя туда, едва не задохнулся. Всю ночь в комнате дышали три человека, по многу раз вдыхая и выдыхая воздух и с каждым выдохом все более отравляя его. Пока они оставались внутри, воздух не казался спертым – просто утром все проснулись с чувством усталости и с тупой головной болью; теперь же, вернувшись с улицы, Том с трудом мог дышать. Он подошел к окну, чтобы открыть его. Окно было «йоркширское» с глухой рамой и половинчатым переплетом, и, чтобы открыть его, нужно было отодвинуть одну половину. Рама оказалась очень тугой, потому что окно давно не открывали. Том толкал ее изо всех сил, и наконец она дрогнула и подалась, но от толчка стекло треснуло, и весь пол засыпало мелкими осколками. Увидев, что натворил, Том страшно испугался. Он бы в любом случае огорчился, причинив ущерб хозяевам, а уж начинать первый день в новом доме с такой промашки было совсем негоже, к тому же, увидев свою тетюшку в гневе накануне вечером, он понял, какая у нее нетерпеливая, горячая и опасная натура. Он присел на край кровати и заплакал. Однако повеявший с улицы свежий утренний ветерок освежил его и придал сил. Умывшись чистой холодной водой, Том почувствовал себя значительно лучше.

«Вряд ли она надолго рассердится – к вечеру все уже будет позади, а день я вытерплю», – храбро подумал он.

Тут в комнату за чем-то влетел Дик.

– Вот это да! Ох и всыпят же тебе, Том! – воскликнул он, увидев разбитое окно. С одной стороны, он обрадовался, с другой – ему стало жаль Тома. – На прошлой неделе мама изо всех сил отлупила Джека за то, что он кинул камень в нижнее окно. Он до ночи от нее прятался, но она его подкараулила, схватила и задала ему жару. Да уж, Том, не хотел бы я быть на твоём месте. Ни за какие коврижки.

Том опять расплакался, и Дик еще сильнее его пожалел:

– погоди, я знаю, что делать: мы пойдем вниз и скажем, что мальчишка из соседнего двора швырялся камнями и один прилетел прямиком в наше окно. У меня как раз завалился камень в кармане, его и покажем.

Внезапно успокоившись, Том ответил:

– Нет, мне страшно так поступить.

– Куда там! Еще страшнее будет показаться маме на глаза, если ничего не придумаешь.

– Нет. Я боюсь прогневить Бога. Мама учила меня бояться Его гнева и говорила, что нет ничего страшнее. Помолчи, Дик, дай мне помолиться.

Дик наблюдал, как его младший брат опустился на колени у кровати, уткнув лицо в одеяло; он всю жизнь думал, что молиться значит произносить заученные слова, но теперь услышал, что Том не читает молитвы по памяти, а словно шепотом разговаривает с близким другом; поначалу, прося поддержать его и дать ему сил, Том всхлипывал и даже плакал, но в конце поднялся с колен со спокойным, просветленным лицом и негромко сказал Дику:

– Теперь я готов все рассказать тетушке.

Тем временем эта самая тетушка с ног сбилась в поисках кувшина и мыла и была настроена весьма решительно, когда Том пришел к ней со своим признанием. Сначала он взял ее вещи, и из-за этого у нее пропало все утро, а теперь вот является и сообщает, что окно разбито, и нужно его чинить, и придется отдать последние деньги из-за глупого мальчишки.

Как и следовало ожидать, она наградила Тома парочкой крепких тумачков. Джек и Дик с любопытством следили, как он примет наказание; Джек нисколько не сомневался, что этот «слабак» разревется (сам он в последний раз вопил что было мочи), однако Том не проронил ни слезинки, хотя лицо его побагровело от боли, а губы были крепко сжаты. Но больше, чем «геройство» Тома во время наказания, мальчиков поразило его спокойное дружелюбие после него. В отличие от Джека Том не ворчал во всеуслышание и не ходил с угрюмым видом, как Дик; не прошло и минуты, как он был готов исполнить поручение тетушки и, вопреки ее опасениям, ни словом не обмолвился о наказании дяде, когда тот пришел завтракать. Она вздохнула с облегчением, зная, как недоволен был бы муж тем, что она в первый же день подняла руку на его осиротевшего племянника.

В то утро бедный Том чувствовал себя совсем одиноким и покинутым, не подозревая, что братья начали уважать его, а тетушке он уже понравился. Заняться ему было нечем. Джек ушел на фабрику, где работал, а Дик, недовольно бурча, отправился в школу. Том раздумывал, придется ли ему еще ходить в школу, но не хотел об этом спрашивать. Он устроился на табурете, стараясь не попадаться под руку своей грозной тетушке. Вокруг нее по полу ползала самая младшая девочка, лет полутора. Тому очень хотелось поиграть с малышкой, но он опасался, что ее матери это придется не по вкусу. И все же он улыбался ребенку и всеми силами старался привлечь его внимание. В конце концов ему удалось уговорить девчущку забраться к нему на колени. Заметив это, тетушка не промолвила ни слова, но и недовольства не выразила. Том как мог забавлял маленькую Энни, и тетушка была довольна, что ребенок под присмотром. Засыпая, Энни не выпустила руку Тома из своей пухленькой мягкой ручки, и он вновь ощутил счастье любви. Еще вчера вечером, когда братья выгнали его с кровати, он горестно думал о том, что ему суждено дожить до старости, никого не любя, а сейчас его сердце было исполнено теплого чувства к крошке, лежавшей у него на коленях.

– Она тебе всю руку оттянет, Том, давай я перенесу ее в колыбель, – предложила ее мать.

– Нет, пожалуйста, не нужно! Мне так хорошо с нею, – взмолился он и ни разу не шевельнулся, пока Энни спала, чтобы не разбудить ее, хотя рука его совсем занемела от тяжести.

Когда девочка наконец проснулась, тетушка сказала ему:

– Спасибо, Том, благодаря тебе я прекрасно управилась с работой. А теперь беги поиграй во дворе.

Она кое-что поняла благодаря Тому, хотя ни один из них не подозревал об этом. В семье, каждый член которой эгоистично «отстаивает свои права» (как это принято называть), нет места чувству благодарности и никому не приходит в голову любезно сказать «спасибо»; нет и возможности подумать о других, если эти другие прежде всего думают и заботятся о себе

самих. Тетушке Тома никогда не приходилось напоминать Джеку или Дику, чтобы они пошли поиграть, – они не забывали о своих удовольствиях и не нуждались в подобных напоминаниях.

И вот подошло время обеда, и вся семья собралась за столом. Каждый рвался быть первым и требовал лучшего куска. Лицо Тома пылало от смущения. Тетушка, проникшаяся к нему приятнью, начала с него, выбрав то, что, по ее мнению, он любил. Однако он не приступил к еде. Мама приучила его перед обедом произносить короткую благодарственную молитву. Он думал, что в доме дяди это тоже принято, и ждал. Потом, еще больше смутившись и покраснев, он подумал, что без молитвы все-таки нельзя, и, преодолев неловкость, негромко, но с глубокой серьезностью произнес знакомые слова. Когда он умолк, Джек громко расхохотался, за что получил от отца резкий выговор и крепкий удар по лбу, после чего до конца обеда не издал ни звука. Думаю, что за исключением обозлившегося Джека остальным членам семьи пошло на пользу благодарственное слово Тома, которое они выслушали почтительно, хотя и не без доли удивления. Они не были дурными людьми – всего лишь неразумными и беспечными, не привыкшими задумываться о своей жизни и своих ближних, а ведь без этой привычки в доме не бывает порядка, основанного на мудром и священном чувстве любви.

В тот день Том навсегда заслужил любовь и уважение. Он помогал тетушке и со смирением сносил ее вспыльчивость, а она, устыдившись, перестала срывать свой гнев на том, кто был с нею так мягок и терпелив. Дядя иногда говорил, что Том больше похож на девочку, чем на мальчика, что вовсе неудивительно после стольких лет женского воспитания, однако более ему не в чем было упрекнуть Тома, и, несмотря на этот недостаток, дядя искренно уважал его за истинно «мужские» качества: за мужество, с которым он поступал так, как считал должным, и за твердость, с которой он выносил любую боль. Что же до малютки Энни, то ее дружба, и любовь, и предпочтение, которое она оказывала Тому, приносили ему подлинную радость. Он не знал, что остальные с каждым днем любят его все сильнее, но Энни проявляла свою любовь на каждом шагу, и он нежно любил ее в ответ. Дик довольно скоро обнаружил, что Том может неплохо помочь ему с уроками, потому что, хоть мастер Дик и был чуть постарше своего брата, он был совершенным остолопом и совсем не хотел учиться, пока в доме не появился Том; Дик даже заявил: «Том – парень что надо, хотя и по-другому, чем Джек» – задолго до того, как его старший брат вынужден был это признать.

Теперь я пропущу еще год и расскажу немного о том, как живет эта семья через двенадцать месяцев после появления в ней Тома. Прежде я уже упомянула, что его тетушка научилась менее резко обращаться с тем, кто после ее упреков был с нею так ласков. Постепенно и с другими она стала менее вспыльчивой, стыдясь в присутствии Тома говорить с ними грубо, – ведь он каждый раз так огорчался из-за этого. Иногда она заговаривала с ним о его маме: поначалу – чтобы сделать ему приятное, но потом ей стало по-настоящему интересно слушать о ней, а поскольку Том, как единственный ребенок, был для своей матери другом и собеседником, он смог поведать тетушке о многих домашних хитростях, которые скрашивают жизнь; если бы она узнала о них от взрослого, то из гордости не воспользовалась бы этим знанием, а бесхитростные рассказы ребенка многому ее научили. Чистота и мир в доме смягчили характер дяди. Он перестал искать в пабе убежища от детского крика, давно не чищенного очага и сварливой жены. Однажды, когда Том пару дней был болен и некому было произнести благодарственную молитву, к которой дядя успел привыкнуть, он решил произнести ее сам. И теперь именно он призывает детей к молчанию и обращается к Богу с просьбой благословить трапезу. И все собираются вместе вокруг стола, тогда как прежде каждый сидел где придется, терпя неудобство и не обращая внимания на остальных. Том и Дик вместе ходят в школу, Дик делает большие успехи и скоро сам сможет помогать младшему брату с уроками, как Том когда-то помогал ему.

Даже Джек недавно признал, что Тому удали не занимать, а поскольку «удаль» для Джека означает все возможные добродетели, в последнее время он проникся к Тому искренней любо-

вью. Том счастлив, хоть и не задумывается об этом; полагаю, можно надеяться, что он и семья, в которую его приняли, будут и впредь идти «от силы в силу».

Видите, насколько счастливее стала эта семья только лишь оттого, что у них появился маленький мальчик? Могли бы деньги доставить им хотя бы десятую часть этого истинного и все прирастающего счастья? Полагаю, все вы ответите отрицательно. А ведь у Тома не было никакой власти; он не был умен; поначалу у него не было друзей; но он был исполнен любви и добродетелен, а за эти качества, которые каждый из нас, приложив усилия, может обрести, Бог вознаграждает сторицей.

Лиззи Ли

Глава первая

Когда Смерть приходит к вам на Рождество, разительный контраст между унынием, в которое погружается ваш дом, и той приподнятой атмосферой, какая обычно царит в нем в эту пору, заставляет вас с особой остротой ощутить внезапную пустоту и боль утраты. Джеймс Ли скончался под негромкий звон колоколов, доносившийся из рочдейлской церкви поутру в светлый праздник Рождества 1836 года. За несколько минут до смерти он открыл стекленеющие глаза и, слабо шевельнув губами, дал знать жене, что желал бы что-то сказать ей напоследок. Низко склонившись над ним, она услышала прерывистый шепот:

– Я прощаю ее, Анна!.. Да простит меня Бог!

– Родненький ты мой! Только бы ты поправился, а уж я век буду благодарна тебе за эти слова. Благослови тебя Господь за них! Не полегчало тебе, голубчик? Может, еще и... О Боже!..

(Пока она причитала над ним, он испустил дух.)

Они прожили вместе двадцать два года, из них девятнадцать – душа в душу, насколько могут жить в мире и согласии непреклонная праведность и честность – с одной стороны, и полная доверчивость, любовь и кротость – с другой. Знаменитую цитату из Мильтона¹ можно было бы заключить в рамку и повесить на стену их жилища в качестве закона супружеской жизни этой четы, ибо муж и впрямь был для жены истолкователем Божьей воли, посредником между нею и Всевышним, и она сочла бы себя греховодницей, ежели посмела бы допустить мысль, что ее супруг бывает излишне строг, хотя Джеймс Ли, человек несомненно кристально честный, был – столь же несомненно – крайне резок, суров и несговорчив. Однако последние три года она жила с камнем на сердце, ибо все ее существо взбунтовалось против несправедливости мужа-тирана, и этот упорный, угрюмый бунт подрывал незыблемые устои семейного долга и любви, отравляя не иссякавший дотоле чистый источник нежной заботы и добровольного преклонения.

Но предсмертные, столь отрадные для нее слова мужа вновь вознесли его на трон в ее сердце и вызвали горькое раскаяние за то отдаление, которым были омрачены их последние годы. Потому-то она и не вняла уговорам сыновей и не вышла принять соболезнования добрых соседей, завернувших к ним по пути из церкви. Нет! Она останется подле своего покойного супруга, благодарная за то, что на краю могилы он смягчился, хотя без малого три года хранил суровое молчание. Как знать, быть может, если бы она сама была с ним поласковее, а не замкнулась в своей обиде, он сменил бы гнев на милость раньше – еще не дойдя до роковой черты!

Она сидела у его постели, раскачиваясь взад-вперед, а внизу то и дело раздавались шаги, какие-то люди приходили и уходили. Горе так прочно срослось с ней, что на бурные проявления скорби она была уже не способна; щеки ее избороздили глубокие морщины, и по ним тихо, непрерывно катились слезы. Когда над холмами сгустились зимние сумерки и соседи разошлись по домам, она неслышно пробралась к окну и устремила долгий печальный взгляд на серые вересковые пустоши. Она не слыхала, как сын окликнул ее от двери и робко приблизился к ней. И только когда он сзади тронул ее за плечо, она испуганно вздрогнула.

– Мама! Пойдем вниз. В доме только я да Уилл, чужих никого нет... Матушка, голубушка, нам без тебя так горько! – Голос у паренька дрогнул, и он расплакался.

¹ Аллюзия на слова Джона Мильтона: «Создан муж / Для Бога только, и жена для Бога, / В своем супруге» («Потерянный рай», 4: 299. Перевод Арк. Штейнберга).

Казалось, миссис Ли стоило больших усилий оторваться от окна, но в конце концов она с тяжким вздохом подчинилась его просьбе.

Ее сыновья (старшему, Уиллу, почти исполнился двадцать один год, но для матери он был еще ребенок) постарались навести уют в доме. Даже ей в прежние счастливые времена, пока беда не постучалась в ворота и любая работа спорилась, едва ли удалось бы разжечь огонь в очаге ярче, а пол вымести чище, чем это удалось ее сыновьям, изо всех сил желавших ей угождать. Стол был накрыт, чайник кипел на плите. Мальчики мужественно скрывали собственную боль под маской деловитости и в лепешку расшибались, чтобы ублажить мать, а та, казалось, ничего не замечала. Она не перечила им, покорно соглашалась, когда ей предлагали то или другое, но как бы по обязанности, словно сыновняя забота не трогала ее сердца.

Когда с ужином – вернее, скромным угощением к чаю – было покончено, Уилл убрал со стола, и мать устало откинулась на спинку кресла.

– Мама, хочешь, Том прочтет тебе главу из Писания? Я-то не больно ученый.

– Хочу, сынок! – ответила она, вмиг очнувшись. – Как ты угадал? Прочтите мне про блудного сына. Это ты молодец, сынок, спасибо тебе.

Том нашел нужную главу и начал читать нараспев высоким звонким голосом, каким читают дети в сельской школе. Мать подалась вперед, рот ее приоткрылся, глаза заволокло туманом – она вся обратилась в слух, жадно впитывая каждое слово. А Уилл сидел с поникшей головой: он хорошо знал, почему ее выбор пал на эту притчу. Для него история блудного сына служила лишним напоминанием о семейном позоре. И когда Том дочитал до конца, его брат не поднял головы, погрузившись в угрюмое молчание. Зато лицо матери просияло, глаза подернулись мечтательной пеленой, словно она была вся во власти чудесного видения. Потом мать придвинула Библию к себе и, водя пальцем, стала читать сама, по слогам, вполголоса – не для слушателей, для себя. Она вновь упивалась рассказом о горькой печали и безмерном унижении, но с особым, трепетным и светлым чувством, смакуя каждое слово, прочла о том, как отец простил и обласкал раскаявшегося блудного сына.

Так прошло Рождество на Ближней ферме.

Накануне похорон на темные вересковые холмы обрушился снегопад. Черное, неподвижное грозное небо вплотную прижалось к белой земле в день, когда покойника вывезли из дома, где он столько лет был всему голова. За гробом попарно тянулись провожавшие его в последний путь – черная змейка похоронной процессии медленно ползла по нехоженому снегу среди унылых холмов к церкви в Милнроу, то пропадавшей из виду в ложбине, то вновь словно нехотя взбиравшейся на голый склон. После похорон все распрощались довольно скоро, вопреки обыкновению, поскольку многим предстоял неблизкий путь домой, а крупные белые хлопья, бесшумно падавшие с неба, обещали снежную бурю. Лишь один старый добрый друг вызвался проводить вдову с сыновьями.

Ближняя ферма принадлежала семейству Ли из поколения в поколение, но достатка не принесла: по своему положению фермеры Ли стояли немногим выше батраков. У них был дом и при нем разные хозяйственные постройки – все старое, допотопное – да акров семь худой, неродящей земли, а средств, чтобы ее облагородить, вечно не хватало. С такой фермой недолго и по миру пойти, и у Ли издавна повелось учить сыновей полезному ремеслу – колесника, кузнеца и так далее.

Джеймс Ли оставил завещание, назначив душеприказчиком того самого старого друга, который после похорон проводил их до дому и огласил волю покойного: Джеймс завещал ферму своей верной жене Анне – до конца ее дней, а после того – своему сыну Уильяму. Сто с чем-то фунтов, лежавших в сберегательном банке, он распорядился сохранить для Томаса.

Некоторое время Анна сидела молча, потом попросила Сэмюэла Орма уделить ей несколько минут для разговора с глазу на глаз. Сыновья ушли на кухню, а оттуда через задний ход во двор и в поле – прогуляться, покуда взрослые беседуют; снегопад их ничуть не сму-

щал. Братья были очень дружны, хотя и несхожи характерами. Старший, Уилл, пошел в отца – немногословный, строгий и очень «правильный». Том (на десять лет его младше), напротив, был ранимый и ласковый и вообще больше походил на девочку не только нравом, но и обликом. Он вечно лнул к матери и до смерти боялся отца. Братья шагали молча, у них не было обычая говорить о чем-либо, кроме насущных дел, да они и не владели сложным языком, с помощью которого описывают чувства.

Тем временем их мать, схватив Сэмюэла Орма за рукав дрожащими от волнения пальцами, сказала:

– Сэмюэл, я должна сдать ферму в аренду, так надо!

– Сдать ферму!.. Опомнись! Что на тебя нашло?

– Ох, Сэмюэл, – взмолилась она, чуть не плача, – я хочу уехать в Манчестер. Надо сдать ферму!

Сэмюэл в изумлении смотрел на нее, что-то прикидывая в уме, и после долгого молчания ответил:

– Коли ты все решила, нет проку тебя отговаривать, надо так надо. Только как тебе жить в Манчестере? Там ведь все иначе. Хотя это не моя забота... Картошку и ту придется покупать, виданное ли дело! Ты же отродясь картошку не покупала. Ну да ладно, не моя забота. Мне это даже на руку. Наша Дженни выходит за Тома Хиггинботама, так вот Том говорит, ему бы землицы немного для начала, свое хозяйство завести. Отец его, само собой, помрет рано или поздно, и Тому достанется отцова ферма Крофт. Но до той поры...

– Значит, ты сдашь ему мою ферму? – нетерпеливо спросила она.

– Ладно, ладно, Том-то согласится, это уж как пить дать. Но прямо сейчас я не ударю с тобой по рукам, так дела не делаются, погодим маленько.

– Нет! Некогда мне годить, давай сейчас же и порешим.

– Хм, ну что ж, поговорю с Уиллом. Вон он, бродит за окном. Выйду к нему, пожалуй, и потолкую.

Он вышел из дому к братьям и без долгих предисловий начал:

– Уилл, твоя мать хочет переехать в Манчестер, а ферму вашу просит сдать в аренду, вбила себе в голову! Ну так я готов взять ее для Тома Хиггинботама. Только я настроен торговаться всерьез, а с вашей матерью нынче спорить о цене – никакого интереса. Давай лучше схлестнемся с тобой, сынок, посмотрим, кто кого обведет вокруг пальца, глядишь, заодно и согреемся.

– Сдать ферму! – хором воскликнули братья, донельзя изумленные. – Переехать в Манчестер!

Едва Сэмюэл Орм уразумел, что ни Уилл, ни Том слухом не слыхивали о ее затее, он отказался вести дальнейшие переговоры, пока они не обсудят все с матерью. Она, как видно, не в себе после смерти мужа. Сэмюэл обождет денек-другой и никому ничего не скажет, даже Тому Хиггинботаму, а то парень загорится раньше времени. Пусть братья сперва все выяснят у матери. На том он с ними и простился.

Уилл насупился, но ни слова не проронил, пока они не подошли к дому.

– Том, сходи в хлев, накорми коров, – распорядился он наконец. – Я сам поговорю с мамой.

Дома он застал мать в кресле перед очагом – она неотрывно смотрела на тлеющие угольки и не слышала, как он вошел: в последнее время она утратила способность мгновенно откликаться на все, что происходит вокруг.

– Мама! Что это за новости? Зачем нам в Манчестер?

– Ох, сынок! – виновато вздохнула она, повернувшись к нему всем телом. – Я должна поехать в город и попробовать разыскать нашу Лиззи. Не могу я больше сидеть на месте и гадать, что с нею случилось. Бывало, отец твой уснет, а я проберусь тихонько к окну и все смотрю,

смотрю туда, где Манчестер, душу себе рву; кажется, сейчас бы выбежала из дому в чем есть и пошла пешком, напрямки через вереск и мох, пока не дошла бы до города, и там заглядывала бы в лицо каждой встречной – не Лиззи ли это... А то как ветер с юга пойдет гулять по ложбинам, мне все чудится (я знаю, что чудится, ты не думай), будто плачет она, горемычная, и зовет меня, и будто голос ее все ближе, ближе и вот уже прямо под дверью всхлипывает жалостно: «Мама!» Ну и спущусь, бывало, неслышно вниз, подниму щеколду и выгляну за дверь в черную ночь – вдруг и правда она? И так больно, так горько мне сделается, что кругом ни души, только ветер стонет... Ох, сынок, не уговаривай меня остаться, когда она там, в Манчестере этом, может быть, умирает с голоду, как тот несчастный сын из притчи! – Под конец она едва не сорвалась на крик и разрыдалась.

Уилл страшно огорчился. Почти три года назад он был уже достаточно взрослым, чтобы его посвятили в семейную тайну. А случилось вот что: отец написал письмо дочери, работавшей в услужении в Манчестере, и это письмо дочкина хозяйка отослала назад, известив его, что Лиззи больше у нее не служит, и откровенно объяснив почему. Уилл вполне разделял праведный гнев отца, хотя и считал, что тот перегнул палку – напрасно он запретил убитой горем, выплакавшей все глаза матери съездить в город и попытаться найти свое несчастное, оступившееся дитя, да еще и объявил, что отныне у них нет дочери – она для них умерла и никто не смеет упоминать ее имя ни на людях, ни дома, ни в молитве о здравии, ни в родительском благословении. Каменное лицо отца с решительно сжатым ртом и сурово сведенными бровями ни разу не дрогнуло, когда соседи выражали им свое сочувствие и сокрушались, что смерть бедняжки Лиззи разом состарила отца и мать; оно и понятно, говорили они, после такого удара нелегко найти в себе силы жить дальше. Уиллу казалось, что этот случай и его самого словно бы состарил раньше времени; он завидовал Тому, который лил невинные слезы по бедной, милой, чистой, в девичестве умершей Лиззи. Уилл иногда думал о ней – думал до зубовного скрежета, и попадись она ему в такую минуту, вlepил бы оплеуху бесстыднице! Раньше мать с ним о сестре не заговаривала.

– Мама! – наконец вымолвил он. – Да она, поди, умерла – даже наверное.

– Нет, Уилл, не умерла, – возразила ему миссис Ли. – Господь не допустит ее смерти, покуда я хотя бы еще разок не увижу ее живой. Ты не знаешь, как я молилась денно и ночно, чтобы снова увидеть ее милое личико и сказать ей, что я прощаю ее, хоть она и разбила мне сердце – разбила, Уилл! – Мать захлебывалась от рыданий и не могла продолжать, пока не совладала с собой. – Но тебе это невдомек, Уилл, иначе не говорил бы, что она умерла. Господь милостив, Уилл, Господь жалостливее людей... С твоим отцом я не осмелилась бы говорить так, как говорю с Ним... Но даже твой отец в конце концов простил ее. Его последние слова были о прощении. Ты ведь не станешь судить строже отца, Уилл? Не пытайся помешать мне отправиться на поиски Лиззи, все равно меня не удержишь.

Уилл долго сидел неподвижно, а потом объявил:

– Я не стану мешать тебе. Я думаю, она умерла, но это не важно.

– Она не умерла, – спокойно, но твердо сказала мать.

– Мы все вместе поедem в Манчестер и пробудем там ровно год, ни месяцем больше, – постановил он, не обращая внимания на ее слова. – Ферму сдадим на год Тому Хиггинботаму. Я устроюсь работать кузнецом, а Том пусть пока набирается ума-разума в хорошей школе, он у нас охоч до учебы. Но после ты, мама, вернешься домой и прекратишь изводить себя думами о Лиззи и смиришься, как и я, с тем, что она умерла... По мне, так-то лучше, чем верить, будто она жива. – Последние слова он произнес едва слышно. Мать покачала головой, но спорить не стала. – Ну так как, мама, согласна ты с моим решением?

– Согласна, отчего нет, – ответила она. – Ежели я за целый год ничего не увижу и не услышу, притом что сама буду в Манчестере и сама отправлюсь на ее поиски, то так тому и

быть. Да и года ждать не придется, я еще раньше надорву себе сердце и сойду в могилу – тогда уж навеки избавлюсь от своей материнской любви и кручины... Да, я согласна, Уилл.

– Значит, решено. Я не хочу рассказывать Тому, отчего мы сорвались в Манчестер. Ни к чему малышу знать лишнее.

– Как скажешь, – ответила она понуро. – Я на все готова, лишь бы поехать.

Еще прежде, чем под сенью рощиц вокруг Ближней фермы расцвели полевые нарциссы, семейство Ли устроилось в новом, манчестерском, доме, хотя, вероятно, они так и не привыкли считать свое городское пристанище домом: ни тебе сада, ни хлева, ни продуваемого свежим ветерком гумна, ни зеленых просторов, ни бессловесной скотины, требующей ежедневной заботы, ни самого, пожалуй, главного, чего им здесь не хватало, – живущих в старом доме воспоминаний, пусть даже печальных, о тех, кого уж нет, о том, чего не вернешь.

Миссис Ли меньше скучала по прежней жизни, чем ее сыновья. Скорее наоборот, впервые за много месяцев она воспрянула духом, ибо у нее появилась надежда, хотя и омраченная известными обстоятельствами, но все-таки надежда. Она прилежно выполняла всю работу по дому, даром что многое в городском укладе было ей странно и непонятно, многие требования городской жизни ставили ее в тупик. Но по вечерам, когда все дела были сделаны и мальчики возвращались домой, она надевала накидку и незаметно, как ей казалось, шла на улицу (Уилл только тяжело вздыхал, слыша, как за ней закрывается наружная дверь). Возвращалась она нередко уже за полночь, бледная, измученная, с каким-то виноватым видом. На ее лице было написано такое разочарование, такое уныние, что Уиллу всякий раз не хватало духа высказать ей все, что он думал о ее глупой, бесполезной беготне. Вечер за вечером все повторялось, и мало-помалу дни складывались в недели, а недели в месяцы. Уилл старался блюсти сыновний долг, хотя совершенно не разделял чаяний матери. Все вечера он проводил дома, чтобы не оставлять Тома одного, и жалел, что, в отличие от Тома, не умеет получать удовольствие от чтения; пока он дожидался прихода матери, время тянулось бесконечно.

Нет нужды подробно описывать здесь, как бедная мать проводила все эти томительные часы. Скажу только, что, выйдя из дому, она поначалу брела словно бы наугад, но потом, собравшись с мыслями, устремлялась к одной-единственной заветной цели и начинала методично обследовать самые глухие закоулки, добираясь порой до недавно застроенных городских предместий и повсюду с немой печальной мольбой вглядываясь в лица людей. Иногда ее взгляд выхватывал из толпы женскую фигуру, чем-то напоминавшую фигуру дочери, и она долго, с обреченным упорством шла за женщиной, пока свет от витрины или фонаря не являл ей чужое, холодное лицо, совсем не похожее на дочкино. Раз-другой участливый прохожий, пораженный ее настойчивым взглядом, в котором таилась бездонная боль, замедлял шаг и спрашивал, нельзя ли ей чем-то помочь. Когда к ней обращались, она всегда задавала один и тот же вопрос: «Вы, случайно, не знаете бедную девушку по имени Лиззи Ли?» – и, услышав «нет», горестно качала головой и шла дальше. Сдается мне, ее принимали за помешанную. Сама она никогда ни с кем не заговаривала. Иногда садилась передохнуть на ступеньке чужого крыльца – или даже всплакнуть, закрыв лицо руками, хотя редко давала волю слезам, не желая тратить отпущенные ей дни на подобную слабость: а вдруг в ту самую минуту, когда глаза ее ослепнут от слез, пропавшая дочь пройдет мимо незамеченной?

Однажды погожим осенним вечером, когда дни становятся короче, Уилл увидел подвыпившего старика, нетвердо стоявшего на ногах: тот никак не мог одолеть узкий проулок, на потеху местным мальчишкам. Воспитанный в почтении к отцу, Уилл всегда заботливо относился к старшим, даже самым жалким и опустившимся, не в пример его собственному отцу, который мог служить образцом нестигаемой праведности. Он вызвался отвести старика домой и по дороге с серьезной миной слушал его заверения, будто бы он ничего, кроме водички, не пьет. Приближаясь к дому, старик приосанился и попытался выровнять шаг: по всей видимости, дома его ждал кто-то, чьим уважением он, несмотря на подпитие, все-таки дорожил – или

чьи чувства боялся ранить. Одного взгляда на его жилище было довольно, чтобы понять: здесь правят чистота и порядок; крыльцо, окно, подоконник – все говорило о том, что в доме обитает дух безупречности. Добрая забота Уилла была вознаграждена признательным взглядом молодой женщины лет двадцати, тотчас залившейся краской стыда. Она не проронила ни слова и не поддержала своего отца, который настойчиво зазывал юношу «посидеть с ними». Ей явно претило, чтобы посторонний лицезрел неуклюжие потуги родителя изобразить степенную трезвость, а Уиллу меньше всего хотелось ее смущать. Но старик не унимался, хватал его за руку трясущейся рукой и не хотел отпустить, пока Уилл не пообещает непременно зайти к ним в другой раз. Девушка стояла, потупив глаза, и Уилл не мог прочесть их выражение, однако рискнул сказать: «Если никто не против, я найду, премного благодарен за приглашение». Но та, которой были адресованы его несмелые слова, оставила их без ответа, и Уилл вышел за дверь с чувством, что милая девица своим молчанием еще больше расположила его к себе.

На следующий день, и на другой, и на третий Уилл много думал о ней, потом бранил себя за глупые мысли и снова думал – никак она не шла у него из головы. Он пробовал к чему-нибудь в ней придраться – полно, не так уж она хороша! – и тут же сам себе с негодованием отвечал, что для него она милее всех писанных красавиц. Он проклинал свой деревенский вид, румянец в пол-лица и широченные плечи; она-то была другой породы, совсем как леди – гладкая, бледная кожа, шелковистые темные волосы и опрятное, ладное платье. Красавица или нет, она манила его к себе, и он не в силах был устоять перед желанием снова увидеть ее и отыскать-таки какой-нибудь изъян, который освободил бы его сердце, плененное без всякого ее участия и ведома.

И вот она перед ним, все та же, в своей прелестной девичьей чистоте. А он сидит и смотрит во все глаза, невпопад поддакивая ее отцу... Мало-помалу уголок за камином, где она устроилась с рукоделием, все больше погружался в тень, и он видел ее все хуже и хуже. И тогда вселившийся в него бес (не сам же он сподобился на такую дерзость!) толкнул его подняться с места и переставить свечу поближе к ней для того будто бы, чтобы ей удобнее было шить, а на самом деле для собственного удобства. Она не стерпела, вскочила и сказала, что ей пора укладываться спать маленькую племянницу. Уму непостижимо, чтобы двухлетний ребенок доставлял столько беспокойства, другой такой егозы в целом свете было бы не сыскать: Уилл прождал девушку битых полтора часа, а она так и не спустилась к ним. Зато он совершенно покорила ее отца своим умением слушать: встречаются счастливые люди, которым от собеседника нужно совсем немного – лишь бы им самим не мешали говорить, притом никакого внимания к своим словам они не требуют, что весьма похвально и благоразумно.

Впрочем, Уилл кое-что вынес из болтовни старика. По его словам, когда-то у него было вполне «благородное» дело, только потом он разорился в пух и прах – ни один другой зеленщик не сумел наделать таких долгов, во всяком случае ни один из тех, кто занимался «чистой» торговлей, не мешая овощи и фрукты с рыбой и дичью. Столь грандиозное банкротство стало, очевидно, главным событием в его жизни, и он не без гордости рассказывал о своем достижении. Судя по всему, в настоящее время он оставил свои героические усилия (по линии рекордного расточительства) и жил на иждивении дочери, которая держала небольшую школу для маленьких детей. Но все эти подробности Уилл припомнил и осознал только по дороге домой, а пока слушал, все время думал о Сьюзен. Произведя хорошее впечатление на отца, он, разумеется, вскоре нашел благовидный предлог, чтобы наведываться к Палмерам снова и снова. Он терпеливо выслушивал старика, в шутку беседовал с крохой-племянницей, а сам знай себе поглядывал на Сьюзен – слушал ли, беседовал ли... Ее папаша все твердил о своем былом «благородстве», в котором Уилл, пожалуй, усомнился бы, если бы милая, чуткая, скромная Сьюзен не осеняла неизъяснимой утонченностью все, к чему прикасалась. Она говорила мало и никогда не сидела без дела, но если двигалась, то бесшумно, а если говорила, то тихим, нежным голосом, так что ее молчание, речь, движение и неподвижность – все возносило ее на недостижимую для Уилла высоту, божественно-недоступную, куда он и не мечтал дотянуться,

хотя его идеал был здесь же, рядом, из плоти и крови. Но если бы Сьюзен вдруг узнала про его темную тайну, про сестрин позор, о котором он ни на минуту не забывал из-за ежевечерних блужданий матери среди падших и отверженных, разве не отшатнулась бы она с отвращением от него, запятнанного недостойным родством? От этой мысли у Уилла холодела кровь, и в конце концов он понял, что должен, пока не поздно, лишиться себя ее милого общества. Борясь с искушением, он засел дома – страдал и вздыхал. Он стал злиться на мать, на ее неиссякаемое терпение и вечные поиски той, которой, как он в душе надеялся, уже нет на свете. Он говорил матери резкости и потом корил себя, слыша в ответ ее печальный, виноватый голос. Он совсем потерял покой. Разъедающая душу борьба рано или поздно должна была отразиться на его здоровье, и Том, его единственный товарищ по долгим вечерам, заметил, что брат день ото дня теряет ко всему интерес, делается без причины раздражителен и взвинчен; и он решился привлечь внимание матери к тому, что с братом творится неладное – уж больно Уилл не похож на себя, весь какой-то осунувшийся, дерганный. Мать выслушала его и словно прозрела, вспомнив, что старший сын тоже нуждается в ее любви. Он и правда терял аппетит и, забывшись, тяжело вздыхал.

– Уилл, сынок! Что с тобой творится? – спросила она, когда он сидел и безучастно смотрел на огонь.

– Со мной ничего, – сказал он с досадой.

– Полно, сынок, я же вижу.

Он промолчал, не стал возражать. Да слышал ли он ее? У него на лице не дрогнул ни один мускул.

– Ты хотел бы вернуться на Ближнюю ферму? – обреченно спросила она.

– Сейчас уже ежевика поспела! – вставил Том.

Уилл помотал головой. Она молча смотрела на него, словно по его лицу пыталась разгадать, какая тоска его гложет.

– Вы с Томом можете уехать, если хотите, – сказала мать. – Я останусь, пока не найду ее, ты же знаешь, – добавила она тихо, чтобы младший сын не услышал.

Уилл быстро повернулся к ней и не терпящим возражений тоном, пользуясь своим непрекаемым правом старшего, велел Тому лечь спать. И когда Том послушно вышел, он заговорил.

Глава вторая

– Мама, – начал Уилл, – с чего ты взяла, что она жива? Если бы она умерла, нам совсем не нужно было бы упоминать ее имя. От нее не было ни слуху ни духу с тех пор, как отец написал ей письмо, и мы даже не знаем, дошло оно до нее или нет. Наверно, она еще раньше оставила место. Сколько женщин умирает при...

– Ох, сынок, не говори так, не рви мне сердце! – чуть не плача взмолилась мать, но быстро справилась с собой, ведь ей непременно нужно было склонить его на свою сторону. – Ты ни о чем меня не спрашивал, ты точно как твой отец, вот я и помалкиваю, как при нем... Я же нарочно выбрала дом на этой стороне Манчестера, поближе к месту, где служила Лиззи. И на следующий день, как мы сюда переехали, я пошла к ее бывшей хозяйке и попросила позволения поговорить с ней. Хотела выложить ей напрямик, что я о ней думаю: вышвырнуть мою девочку на улицу! Хотя бы нас сперва предупредила... Только она была в трауре, вся как в воду опущенная, и у меня язык не повернулся попрекнуть ее. Но я кое-что выведала у нее про нашу Лиззи. Хозяин и правда хотел отослать ее, давши день на сборы (теперь-то он сам отправился в иной мир, и я надеюсь, там с ним обойдутся милостивее, чем он обошелся с нашей Лиззи, очень надеюсь!), а хозяйка спросила ее, не стоит ли написать домой родителям. Говорит, Лиззи затрясла головой, нет, мол, не надо! Та давай ее уговаривать, и тогда Лиззи упала перед ней на колени и стала умолять ничего нам не говорить, потому что это разобьет мне сердце (и разбило, Уилл, Господь свидетель)... – Несчастливая мать, давясь слезами, пыталась совладать со своим горем. – ...А отец проклянет ее... Боже правый, научи меня смирению! – Несколько минут она не в силах была продолжать. – Лиззи пригрозила, что если хозяйка напишет домой, то она утопится, прыгнет в канал... Вот так... Но я напала на след моей девочки – хозяйка сказала, что она, скорее всего, пошла в рабочий дом, чтобы там разрешиться от бремени. Туда я и отправилась – и точно, она была там... Только чуть она окрепла, ее оттуда выгнали – молодая, сказали ей, иди ищи работу... А какую работу найдешь, сынок, с дитем-то на руках?..

Уилл слушал рассказ матери с сочувствием, хотя и не мог отделаться от стыда за проступок сестры. Однако то, что мать открыла ему свое сердце, сподвигло его открыть ей свое.

– Мама! – сказал он, поразмыслив. – Я думаю, мне лучше вернуться домой. Том пусть останется здесь, с тобой. Я знаю, что нужен тебе, но мне не будет покоя – знать, что она... так близко, и не видеть ее... Сьюзен Палмер то есть.

– Так у старика Палмера – я помню, ты мне о нем рассказывал – есть дочка? – удивилась миссис Ли.

– Есть. И уж так она мне любя! Из-за нее я и хочу уехать. Вот тебе и весь сказ.

Какое-то время миссис Ли пыталась взять в толк, что значат его слова, но не сумела свести концы с концами.

– Отчего ты не скажешь ей, что любишь ее? Ты парень видный и работник, каких поискать. После меня тебе достанется Ближняя ферма. Да если на то пошло, забирай ее хоть сейчас, а я как-нибудь проживу, буду вон уголь древесный выжигать и продавать. Что-то не пойму я тебя: хочешь добиться ее – зачем уезжать из Манчестера?

– Ах, мама, она такая хорошая, чистая, прямо святая. Она ведать не ведает, что такое грех. Как же мне просить ее руки, когда мы знаем, что случилось с Лиззи? Да все ли мы еще знаем! Сомневаюсь я, чтобы такая девушка смогла полюбить меня. А уж если она услышит про мою сестрицу, мы с ней и подавно окажемся на разных берегах, и захочет ли она найти мосток – перебраться ко мне? Скорее, содрогнется от ужаса. Ты просто не знаешь, мама, какая она!

– Уилл, Уилл! Если она такая распрекрасная, как ты говоришь, неужто она не пожалеет мою Лиззи? А если у нее нет жалости к несчастной, значит она жестокосердная и вся ее святость – обман и тебе лучше держаться от нее подальше.

Он лишь покачал головой и вздохнул. На этом тогда и завершился их разговор.

Но в голове у миссис Ли возник новый план. Она задумала пойти к Сьюзен Палмер, замолвить словечко за Уилла и открыть ей всю правду про Лиззи. Если девушка пожалеет бедную грешницу, значит она достойна ее Уилла, а нет – значит нет. На следующий же день, не ставя сыновей в известность, миссис Ли извлекла из сундука свой воскресный наряд, который после приезда в Манчестер ни разу не достала, – не до нарядов ей было, но чего не сделаешь ради сына!.. Она надела старомодный вдовый капор, отделанный настоящим кружевом, и красную суконную накидку, купленную вскоре после свадьбы, и в таком виде, как всегда безупречном в смысле чистоты, тронулась в путь, самовольно взяв на себя роль посла. Она знала, что Палмеры живут на Краун-стрит, но точного адреса не имела. Время от времени она спрашивала у местных жителей, куда ей идти, и без четверти четыре добралась до нужной улицы. Женщина, к которой она обратилась, чтобы выяснить номер дома Палмеров, сказала, что уроки в школе Сьюзен Палмер закончатся в четыре, и предложила зайти посидеть у нее.

– Сьюзен Палмер всем нам добрый друг, – улыбнулась она, – почитай что сестра. Да вы садитесь, голубушка, садитесь. Я только стул протру, чтобы вы не испачкали накидку. Моя матушка тоже, помнится, носила яркие накидки, очень даже красиво, особенно когда вокруг все зелено.

– А давно вы знаете Сьюзен Палмер? – поинтересовалась миссис Ли, довольная, что женщина похвалила ее наряд.

– Да с тех самых пор, как они здесь у нас поселились. Наша Салли ходит в ее школу.

– Какая она из себя? Я никогда ее не видала.

– Даже не знаю... если вы про ее наружность. Я уже не припомню, когда я с ней познакомилась и какой она мне тогда, по первости, показалась. Мой благоверный говорит, что от ее улыбки сердце радуется, такой улыбки, говорит, ни у кого на свете больше нет. Но может быть, вы не о том хотели узнать? А про ее наружность я вам так скажу: незнакомый человек, если ему вдруг понадобится помощь, сразу выберет ее среди всех, кто идет по улице. Детки к ней так и льнут, другой раз сразу трое или четверо за передник цепляются!

– Часом, не вертихвостка?

– Вертихвостка, скажете тоже! Уж кому-кому, а ей такое слово вовсе не пристало. Вот папаша ее тот еще вертопрах. Нет, она не какая-нибудь... Верно, вы совсем ничего не знаете про Сьюзен Палмер, если надумали спросить такое. Она их тех, кто войдет неприметно и делает то, что нужнее всего, вроде ничего особенного, любой мог бы сделать то же самое, только никому в голову не приходит подумать о других. А она заглянет к вам вечером справиться что да как, достанет наперсток и починит ребячью одежду... А письма старой Бетти Харкер внуку в армию кто пишет? Она... И как-то у нее получается никому не мешать, золотое качество, скажу я вам. А вон и ребятишки побежали! Конеч урокам. Теперь ступайте к ней, она вас выслушает, не сомневайтесь. Просто во время уроков мы и близко к ее дому не подходим, для нас это закон.

Сердце бедной миссис Ли так колотилось в груди, что она едва не повернула назад. По своей деревенской привычке она робела перед чужими, а перед этой Сьюзен Палмер и подавно: по всему получалось, что она настоящая леди! Замирая от страха, миссис Ли постучала в указанную дверь и, когда ей открыли, молча сделала книксен. Сьюзен держала на руках маленькую племянницу, которая уютно свернулась у нее на груди, но, услышав, кто к ней пожаловал, тотчас ласково спустила девочку на пол и усадила миссис Ли на лучшее место.

– Вы не подумайте, я к вам пришла не по наущению сына, – принялась оправдываться мать, – я сама хотела потолковать с вами.

Сьюзен покраснела до корней волос и быстро наклонилась к девочке, чтобы снова взять ее на руки. Через минуту миссис Ли возобновила попытку начать разговор:

– Уилл думает, что вы потеряли бы к нам уважение, если бы знали всю правду о нас, а я уверена, что вы бы посочувствовали нашему горю – Господь послал нам такое несчастье! – поэтому, вот, надела капор и втайне от сыновей отправилась к вам. Все вокруг говорят, какая вы хорошая, добрая, ни в чем не отступаете от истинного пути, верно, Бог вас хранит; но может статься, вам не довелось еще, как некоторым, пройти через испытание, через соблазн. Вы уж простите меня за прямоту, душа изболелась, мочи нет слова выбирать – слова хорошо выбирают те, у кого на душе покойно. В общем, скажу вам все как есть. Уилл до смерти боится, что вы узнаете, а я скажу! Знайте же... – Но тут бедная женщина запнулась, язык отказывался повиноваться ей; она сидела и молча раскачивалась взад-вперед, устремив на Сьюзен строгий неподвижный взгляд, словно ее глаза пытались поведать о том, чего не в силах были вымолвить трясущиеся губы. Эти полные муки застывшие глаза такой болью отзывались в сердце Сьюзен, что по ее щекам побежали слезы. Сочувствие девушки как будто вдохнуло в мать новые силы, и она тихим голосом заговорила вновь: – Была у меня дочка, и я в ней души не чаяла. Ее отец считал, что я слишком с ней нянчусь, порчу ее, и распорядился отдать ее в люди – пусть узнает, что почем в этой жизни. Она была молоденькая, ей и самой хотелось на мир посмотреть, а тут ее отец прослышал, что в Манчестере есть место. Да чего там! Не стану вас утомлять. Бедная девочка оступилась, а узнали мы об этом, когда ее хозяйка отослала отцово письмо назад и написала, что наша дочь у нее больше не служит, а если говорить без обиняков, то хозяин вышвырнул ее на улицу, как только услышал о ее положении... А ей ведь еще и семнадцать годков не было!

Она уже плакала навзрыд, и Сьюзен тоже утирала слезы. Девчушка заглядывала снизу вверх в лица женщин и, заразившись их печалью, скулсила и заголосила. Сьюзен подняла ее повыше и уткнулась лицом в детскую шейку, чтобы поскорее унять слезы и придумать, чем утешить гостью.

– Где же она теперь? – спросила она наконец.

– Кабы я знала! – простонала миссис Ли, подавив рыдания, чтобы донести до собеседницы еще одно горестное обстоятельство: – Миссис Ломакс сказала мне, что от них она пошла...

– Миссис Ломакс... Которая миссис Ломакс?

– Та, что живет на Брабазон-стрит. Она сказала, что моя бедная девочка пошла от них в работный дом. Не хочу говорить плохо о мертвых, но если бы ее отец отпустил меня... Только его было не свернуть... Нет, не слушайте меня, лучше я промолчу. Он простил ее на смертном одре. Наверно, я сама виновата, не сумела его уломать.

– Вы не подержите ребенка одну минуту? – спросила Сьюзен.

– Давайте, если она ко мне пойдет. Раньше дети меня любили, а теперь боятся. Лицо мое смурное им не нравится, так я думаю.

И верно, девочка цеплялась за Сьюзен, и той пришлось пойти наверх с ребенком на руках. Миссис Ли осталась одна, и сколько она так просидела, она и сама не могла бы сказать.

Сьюзен вернулась к ней с узелком старых детских вещей.

– Вы должны выслушать меня, только наберитесь терпения и не принимайте слишком близко к сердцу то, что я скажу. Нэнни мне не племянница и вообще не родня, насколько я знаю. Некоторое время назад я каждый день ходила на работу. Однажды вечером я возвращалась домой и мне почудилось, что за мной увязалась какая-то женщина. Я остановилась посмотреть, кто это, но она сразу отвернула лицо и протянула мне что-то. Я машинально подставила руки, и она опустила на них какой-то сверток. У нее из груди вырвался такой отчаянный хриплый стон! До сих пор сердце щемит, как вспомню... Смотрю – на руках у меня лежит младенец. Я подняла голову, но женщины уже и след простыл. При младенце был узелок с детскими вещами – два-три платица, – и я подумала, что они сшиты из старых материнских платьев: на детских вещах из магазина рисунок мельче. Я, знаете, люблю малышей...

Впрочем, отец говорит, что я просто безголовая. На улице было очень холодно, и когда я увидела, насколько могла разглядеть в темноте (был уже одиннадцатый час), что вокруг ни души, я отнесла малютку домой и согрела ее. Отец пришел еще позже, он страшно разозлился, угрожал, что наутро отнесет ребенка в работный дом, и долго меня распекал. Но наутро я уже не могла расстаться с этой крохой – она всю ночь спала, прижавшись ко мне, – к тому же я слышана, каково детям в работном доме! Я сказала отцу, что оставлю работу и открою здесь школу, только бы он не разлучал меня с малышкой. И после долгих уговоров он согласился, если я обещаю зарабатывать достаточно и он ни в чем не будет испытывать недостатка. Но к девочке он так и не привязался. Полно, полно, не надо так волноваться... Послушайте, что я вам еще скажу... хотя, может быть, и напрасно. Я работала по соседству с домом миссис Ломакс на Брабазон-стрит, их слуги тесно общались с нашими, и я слышала, что какой-то девушке, они называли ее Бесси, отказали от места. Не уверена, что я сама хотя бы раз видела ее, но, судя по возрасту ребенка, все сходится, и у меня иногда закрадывалась мысль, что это ее дочь. Ну вот, а теперь взгляните на вещицы, которые были при девочке, дай Бог ей здоровья!

Но миссис Ли не слышала ее, она лишилась чувств. Нечаянная радость, жгучий стыд и внезапный прилив любви к малышке – всего сразу ей было не вынести. Сьюзен понадобилось время, чтобы вернуть ее к жизни. И бедная женщина, дрожа всем телом, слабея от нетерпения, принялась перебирать детские платяица. Среди тряпья обнаружился клочок бумаги (первоначально приколотый к свертку булавкой), о котором забыла упомянуть Сьюзен; на нем круглым твердым почерком было выведено: «Назовите ее Анна. Она не плаксивая и сообразительная. Благослови вас Господь, простите меня!»

Записка не давала никаких ключей; единственным связующим звеном могло служить лишь имя, Анна, Впрочем весьма распространенное. Однако миссис Ли вмиг узнала материю на детском платяице – оно было перешито из платья, которое они с дочкой купили в Рочдсйле. Она поднялась с кресла и простерла руки над склоненной головой Сьюзен, благословляя ее:

– Да хранит вас Господь, да смилостивится он над вами в час нужды, как вы смилостились над бедной крошкой!

Она взяла девочку на руки, сменила страдальческое выражение лица на ласковую улыбку и горячо расцеловала ее, приговаривая: «Нэнни, Нэнни, кровиночка моя!» Малышка успокоилась, заглянула ей в лицо и разулыбалась в ответ.

– У нее дочкины глаза, – сказала миссис Ли.

– Я ведь толком ее и не видела. Но если вы узнали платье, должно быть, ребенок ее. Вот только где она сама?

– Бог весть, – вздохнула миссис Ли. – Не верю я, что она умерла. Не верю, и все тут.

– Нет-нет, она не умерла! Время от времени кто-то подбрасывает нам под дверь бумажный пакетик с деньгами, обычно там пара монет по полкроны, а однажды оказался целый соверен. Всего Нэнниных денег у меня собралось семь фунтов тридцать шиллингов. Я к ним не прикасаюсь и часто думаю, что для несчастной матери нет большего блаженства, чем приносить эти монеты. Отец хотел заявить в полицию, чтобы ее выследили, но я ему запретила, побоялась, что она заметит слежку и больше не придет. Мне казалось, наш священный долг – оставить ей эту возможность. Нет, на такое я пойти не могла!

– Ох, только бы нам ее найти! Прижала бы ее к груди и с нею вместе уснула навеки.

– Полно, не убивайтесь так! – ласково сказала Сьюзен. – В жизни всякое случается, может быть, она еще выйдет на прямую дорогу, вспомните Марию Магдалину.

– И то верно! Однако я оказалась права – Уилл ошибался в вас. Он ведь думал, что вы в его сторону больше не посмотрели бы, кабы узнали про Лиззи. Но у вас доброта не на словах, а в душе.

– Мне жаль, что он считает меня черствой, – покраснев, тихо сказала Сьюзен.

Тут миссис Ли не на шутку встревожилась – не оказала ли она сыну медвежью услугу, не уронила ли его в глазах Сьюзен.

– Поймите, Уилл очень высоко вас ставит... Послушать его – чистое золото и то недостойно лежать под вашими ногами! Сын думает, что он вам не ровня, не говоря уж про то, какая у него сестра. Он вас так любит, что все свое ни в грош не ставит, дескать, куда уж нам в калашный ряд... Но он хороший парень и хороший сын... Если бы выбрали его, не прогадали бы. Так что вы не истолкуйте мои слова превратно, я про него худого слова не скажу.

Сьюзен молчала, низко склонив голову. До этой минуты она не предполагала, что у Уилла столь серьезные чувства и намерения, и теперь опасалась, что миссис Ли нарисовала слишком радужную картину, весьма далекую от правды. В любом случае природная скромность не позволяла ей откровенно высказать свои чувства кому-либо, кроме главного заинтересованного лица. И она сочла за благо перевести разговор на девочку.

– Я верю, что он полюбит Нэнни, непременно полюбит! – сказала Сьюзен. – Она просто прелесть, перед ней невозможно устоять. Особенно когда он узнает, что это его племянница. И если малышка завоюет его сердце, то, вероятно, он и к сестре своей будет снисходительнее. Вам так не кажется?

– Не знаю, не знаю, – покачала головой миссис Ли. – У него в глазах мелькает что-то такое, точь-в-точь как у его отца, отчего мне... Хотя он честный малый и всегда поступает по совести, будьте уверены. Все дело во мне: не умею я настоять на своем, один суровый взгляд – и у меня душа в пятки, вот и брякаю с перепугу не то, что надо. Да будь моя воля, прямо сейчас забрала бы Нэнни с собой, так ведь Том, младший мой, ничего не знает, думает, что сестрица его умерла, а к Уиллу я не умею найти подход. Потому и страшусь сделать то, что должна, говорю вам как на духу. Но вы, пожалуйста, не думайте худо об Уилле. Просто он сам такой правильный, что ему невдомек, отчего другие совершают проступки. А главное, вы уж мне поверьте, он любит вас, крепко любит!

– Я не готова была бы сейчас расстаться с Нэнни, – поспешно заверила ее Сьюзен, дабы не слушать смущавшие ее откровения о сердечной привязанности Уилла к ней самой. – И он скоро смирится с ее существованием, иначе и быть не может. А я тем временем буду начеку и, когда несчастная мать снова придет оставить деньги, постараюсь изловить ее.

– Да, голубка, постарайтесь, изловите мою непутевую Лиззи. Я всем сердцем люблю вас за доброту к ее ребенку, но если вы и ее саму сумеете мне вернуть, то я до гробовой доски буду за вас Бога молить и, покуда жива, с нею вместе стану служить вам верой и правдой. Для меня сейчас она на первом месте, о ней кручинюсь! Благослови вас Господь, голубушка. На душе теперь много легче, чем до нашего разговора. Но мне пора и честь знать, сыновья меня уже обыскались. Прощай, дитятко мое! – Она расцеловала малышку. – Если соберусь с духом, расскажу Уиллу про все, что было сегодня промеж нас. Так можно ему прийти к вам потолковать?

– Да, разумеется, отец будет рад повидаться с ним, – ответила Сьюзен.

Тон, которым были произнесены эти слова, успокоил растревоженное сердце матери, напрасно опасавшейся, будто своими речами она навредила сыну. Напоследок покрыв ребенка поцелуями и снова истово, со слезами на глазах благословив Сьюзен, миссис Ли поспешила домой.

Глава третья

В тот вечер миссис Ли впервые за много месяцев осталась дома. Даже «ученый» Том, оторвав голову от своих книжек, с изумлением воззрился на нее, но потом вспомнил, что Уилл нездоров и матери об этом известно, а раз так, ее желание побыть дома и приглядеть за ним только естественно. И действительно, она не сводила с него заботливого взгляда. Полные любви материнские глаза были прикованы к лицу сына – необычайно хмурому, печальному, удрученному. Когда Том пошел спать, она поднялась и, приблизившись к Уиллу, который невидящим взглядом смотрел на огонь, поцеловала его в лоб со словами:

– Уилл, сынок, сегодня я была у Сьюзен Палмер!

Ее рука лежала у него на плече и почувствовала, как он весь сжался. Однако минутую другую он сидел молча и только после вымолвил:

– Зачем, мама?

– Ну как зачем, сынок, как же матери не посмотреть, на кого ее сын глаз положил! Но я к ней с уважением, ты не думай. Надела все самое лучшее и вести себя старалась так, чтобы ты был мною доволен. Стараться-то старалась, да потом, веришь ли, про все позабыла!

Она надеялась, что сын захочет узнать, отчего же она про все позабыла, но он только спросил:

– Как она, мама?

– Уилл, ты же знаешь, я ее раньше не видела, а так, что же, хорошая девушка, воспитанная. Очень она мне по сердцу пришлась, и было отчего!

Уилл удивленно взглянул на мать. Она всегда стеснялась чужих, а тут после первой же встречи такое признание! Хотя чему удивляться? Разве есть на свете человек, который, увидев Сьюзен, не полюбил бы ее? Поэтому он опять ни о чем не спросил, и бедной матери пришлось набраться смелости для новой попытки свернуть разговор на желанный предмет – знать бы только, с какого конца зайти!

– Уилл! – сказала она (скорее – выпалила, отчаявшись исподволь подвести к тому, о чем ей так хотелось рассказать). – Я поведала ей все как на духу.

– Мама! Ты меня погубила! – Он вскочил на ноги и застыл перед ней с побелевшим от страха лицом.

– Нет же, нет, сынок ты мой дорогой, не гляди на меня так испуганно, ничего я тебя не погубила! – воскликнула она, положив ладони ему на плечи и ласково заглядывая ему в лицо. – Она не из тех, кто глух к материнскому горю. Нет, сынок, она сама доброта. Такая не осудит и не оттолкнет оступившегося. Она чтит не букву, но дух Святого Евангелия. Не робей, Уилл, ты своего добьешься – я хорошенько следила за ней и знаю, что говорю, хотя женщине не пристало выдавать тайну другой женщины. Сядь, сынок, а то вон побелел как полотно.

Он сел. Мать придвинула табуретку и уселась у его ног.

– Значит, ты рассказала ей о Лиззи? – сипло спросил он.

– Рассказала, все рассказала, и она горько плакала над моей бедой и сокрушалась, что бес попутал мою бедную девочку. А потом лицо ее вдруг просветлело, словно бы солнца луч заиграл на нем, словно бы ее осенило! И что ты думаешь, сынок, какая счастливая мысль ей пришла?.. Боязно вымолвить, но я не должна сомневаться, что в сердце своем, перед Богом и Божьими ангелами, ты возблагодаришь ее, как и я возблагодарила, за ее великую доброту. Малышка Нэнни никакая ей не племянница, это дитя нашей Лиззи – моя внученька! – Мать не могла больше сдерживаться, слезы градом покатались из глаз, но взгляд ее по-прежнему был прикован к лицу сына.

– Так она знала, что это ребенок Лиззи? Ничего не пойму, – пробормотал он, покраснев до ушей.

– Теперь узнала, а сперва, конечно, не знала, просто по доброте душевной приютила несчастного младенчика, а что подкидыш – дитя греха, догадаться нетрудно. И она все делала для этой крохи, кормила-поила, ухаживала чуть ли не с самого рождения и привязалась к ней, как к родной... Уилл, ты ведь тоже полюбишь ее? – умоляюще спросила мать.

Он ответил не сразу.

– Постараюсь, мама. Дай мне время, все это как обухом по голове. Представить только, чтобы Сьюзен связалась с подкидышем!..

– Да, Уилл! А каково представить, чтобы Сьюзен связалась еще и с матерью подкидыша! Скоро и такое может случиться. Сердце у нее доброе, жалостливое, и о моей пропавшей девочке она говорит с надеждой – обещает помочь мне найти ее. Она, наша Лиззи, иногда приходит оставить под дверью денежки на ребенка. Ты только подумай, Уилл! Вот ведь какая она, Сьюзен: светлая и чистая, как ангел небесный; как ангел, исполнена надежды и милосердия; и, как ангел, готова возрадоваться раскаявшейся грешнице! Уилл, сынок, во мне теперь нет страха, и я буду говорить, а ты слушай и не перечь. Я твоя мать, и я требую, ибо знаю, что я права и со мною Бог! Ежели Он направит нашу бедную, заблудшую девочку к порогу Сьюзен и этот чистый ангел приведет ее, умытую слезами раскаяния, под отчий кров, обещай, что ты никогда не попрекнешь ее прежним грехом, но будешь добр и заботлив к той, которая «пропадала и нашлась»². Благослови тебя Господь, и дай тебе Бог ввести Сьюзен в наш дом как свою жену!

Перед ним стояла уже не покладистая, добрая, вечно заискивающая мама, а живое воплощение силы и достоинства, словно в ее уста Господь вложил свою волю. Она держалась так необычно, так величаво, что перед ее новой манерой отступили и гордость Уилла, и его упрямство. Когда она заговорила, он тихо поднялся с места и склонил голову в молчаливом почтении к ее словам и к той высшей воле, которой они продиктованы. И ответил ей с таким смирением, что она сама изумилась, ее ли сын это сказал:

– Обещаю, мама.

– И если я до этого не доживу... все равно... обещай, что вернешь домой заблудшую овечку, исцелишь ее печали и приведешь к престолу Отца Небесного. Сынок, мочи нет говорить! В глазах темно...

Он усадил ее в кресло, сбегал за водой. Она открыла глаза и улыбнулась:

– Благослови тебя Бог, Уилл. Ох, гора с плеч! Я так рада, словно уже нашла ее!

В тот вечер старик Палмер припозднился дольше обычного. Сьюзен опасалась, что он принялся за старое – завернул в кабак и напился, и эта мысль угнетала ее, не давала вполне насладиться счастьем от сознания, что Уилл ее любит. Она долго не ложилась, поджидая отца, но он все не шел. Приготовив к его приходу все, что нужно, она поднялась к себе и в приливе нежности, с молитвой в душе засмотрелась на розовую от сна девочку, спавшую в ее постели. Едва Сьюзен легла, детские ручки обняли ее за шею (Нэнни всегда спала очень чутко) со всей силой любви доверчивого маленького сердца, и она поняла, что всегда будет ей защитой и опорой, хотя в своем дремотном состоянии не сумела бы облечь это чувство в слова.

Не успела Сьюзен уснуть, как услышала, что отец наконец-то явился домой и еле держится на ногах: сперва он подергал снаружи окно, потом долго возился с дверью, громко и бессвязно бранясь. Притулившееся к ней крохотное невинное существо казалось еще милее и дороже, когда она поневоле обратилась мыслями к гуляке-отцу. Теперь вот кричит снизу, чтобы ему зажгли свет... Спички и все прочее, что могло ему понадобиться, она, как всегда, оставила для него на комод, но он, видно, основательно набрался, а с огнем шутки плохи. Она тихонько встала с постели, завернулась в накидку и пошла вниз помочь ему.

² Аллюзия на притчу о блудном сыне: «...этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15: 24).

Увы! Как ни осторожно разомкнула она обвивавшие ее шею детские ручки, девочка проснулась и, не обнаружив подле себя своей обожаемой Сьюзи, испугалась, что ее оставили одну в страшной таинственной темноте, которой нет конца и края. Нэнни вылезла из постели и как была, в ночной рубашонке, потопала к двери. Внизу горел свет – там Сьюзи, там безопасно! Сперва две ступеньки вверх, а дальше – крутая лестница вниз. Все еще полусонная, она на секунду замерла на верхней ступеньке, покачнувшись – и упала! Скатилась по лестнице и ударилась головой о каменный пол. Сьюзен подлетела к ней, испуганно прижала к себе и принялась бормотать ласковые слова, но веки, закрывшие фиалковые глазки, не открылись, и бледные губы не издали даже самого слабого звука. И падавшие на нее капля за каплей горячие слезы не разбудили ее. Она лежала на коленях у Сьюзен совершенно неподвижно – ее короткая жизнь завершилась. Не помня себя от ужаса, Сьюзен отнесла девочку вверх, в постель. Потом наспех, кое-как оделась, руки ее не слушались... Отец завалился спать на скамье внизу, да если бы и очнулся, от него все равно не было бы никакой пользы, скорее лишняя помеха. Сьюзен выскочила за дверь и побежала по пустынной, притихшей улице, на которой шаги отдавались гулким эхом, к ближайшему доктору. Но вслед за ней, словно подхваченная внезапным страхом, устремилась чья-то тень. Сьюзен принялась судорожно дергать ручку звонка – тень, низко пригнувшись, скрылась за ближайшим выступом. Из окна наверху выглянул доктор.

– Ребенок упал с лестницы! Краун-стрит, дом девять. Кажется, умирает! Пожалуйста, ради Бога, сэр, скорее! Краун-стрит, дом девять.

– Сейчас приду, – сказал он и закрыл окно.

– Ради Бога, которым вы его заклинали, ради Бога, скажите мне – вы Сьюзен Палмер? Неужто мой ребенок умирает? – сказала тень, выскочив из укрытия и схватив бедную Сьюзен за руку.

– Девочка двух лет... Я не знаю, чья она, но люблю ее как дочь. Пойдемте, пойдемте со мной, кто бы вы ни были!

Они быстро двинулись назад по безмолвным улицам – безмолвным, как ночь. Войдя в дом, Сьюзен на ходу взяла лампу и пошла с ней вверх. Незнакомка следовала за ней по пятам.

С безумным, горящим взором женщина замерла у кровати, ни разу не взглянув на Сьюзен, и стала жадно всматриваться в побелевшее детское личико. Она прижала руку к сердцу, словно пытаясь унять его стук, склонилась к ребенку и припала ухом к бледным губам. Потом, ничего не сказав, отдернула одеяло, которым Сьюзен заботливо покрыла девочку, и положила ладонь на тельце с левой стороны.

– Она умерла, умерла! – воздев руки, в отчаянии крикнула женщина.

Вид ее был ужасен. Глядя на изможденное, обезумевшее лицо, Сьюзен затрепетала, но это продолжалось всего мгновение. Бог вложил мужество в ее сердце – ее безвинные руки обняли грешное, отверженное создание, а мокрое от слез лицо опустилось на грудь страдальцы. Ее гневно оттолкнули.

– Ты убила ее!.. Не уберегла... Позволить ребенку упасть с лестницы!.. Ты убила, убила ее!

Смахнув мутную пелену, застилавшую ей взор, и устремив на несчастную мать чистые ангельские глаза, Сьюзен скорбно вымолвила:

– Я жизнь свою положила бы за нее.

– Ох, я сама, сама отдала ее на погибель! – вскричала убитая горем мать с яростным отчаянием, которое иногда прорывается у тех, кого никто не любит и кому некого любить, а значит, незачем и щадить чьи-то чувства.

– Т-ш-ш, – остановила ее Сьюзен, – доктор пришел. Даст Бог, она выживет.

Женщина резко обернулась. Доктор уже поднялся по лестнице. Увы, материнское сердце не ошиблось: девочка умерла.

Едва доктор вынес свой вердикт, мать без чувств рухнула на пол. Как ни глубока была печаль Сьюзен, ей пришлось забыть о себе и своей утрате – о милом ребенке, которого она так долго холила и лелеяла. Она спросила доктора, чем можно помочь доведенной до крайности несчастной, простертой на полу у их ног.

– Это ее мать! – пояснила она.

– Надо было лучше смотреть за ребенком, – ворчливо обронил доктор.

– Девочка спала со мной, это я оставила ее без присмотра, – сказала Сьюзен.

– Я вернусь к себе и приготовлю успокоительные капли, а вы покамест уложите ее в постель.

Сьюзен достала кое-что из своей одежды и осторожно раздела неподвижное, безвольное женское тело. В доме не было свободной кровати – только ее собственная и скамья, где спал отец. Она осторожно подняла с постели свою ненаглядную бездыханную девочку, чтобы отнести ее вниз, но мать вдруг открыла глаза и, увидав, что она намеревается сделать, жалобно сказала:

– Я недостойна прикасаться к ней, ведь я грешница. И я не вправе говорить с вами так, как давеча говорила. Но я вижу, вы добрая, очень добрая. Можно мне взять мое дитя на руки и побыть с ней немного?

Ее голос был так разительно не похож на тот, каким она кричала, пока с ней не случился припадок, что Сьюзен едва узнала его – столько в нем было кротости, столько искренней мольбы, перед которой нельзя устоять. Черты ее тоже утратили все следы гнева, словно их разгладил нерушимый покой могилы. Сьюзен потеряла дар речи и молча положила ребенка на руки матери. Но смотреть на них было выше ее сил, она упала на колени и разрыдалась.

– О Боже, Боже, смилостивься над ней, прости ее, пошли ей утешение!

Мать гладила детское личико и что-то тихо, ласково, с улыбкой приговаривала, словно качала живого ребенка. Она сходит с ума, подумала Сьюзен, не прерывая молитвы, а слезы все катились и катились у нее из глаз.

Наконец явился доктор с каплями. Мать покорно приняла лекарство, не ведая, что пьет и зачем. Доктор сидел возле нее, пока она не заснула. Тогда он неслышно встал и, поманив Сьюзен к двери, распорядился:

– Заберите у нее тело ребенка. Она не проснется. С этим успокоительным она проспит много часов. Я загляну к вам до полудня. Сейчас уже светает. До свидания.

Сьюзен закрыла за ним дверь и потом осторожно высвободила мертвое тельце из материнских рук. Она не могла противиться желанию в последний раз прижать к груди свою милую девочку и все смотрела на ее покойное, безмолвное, бледное личико, чтобы навеки запечатлеть его в памяти.

Ни ночью, ни в часы дневного бденья
Не смоют слезы светлого виденья;
Ни туча мыслей, ни краса вселенной
Не затуманят образ незабвенный.
Дитя! Навеки в сердце мне проник
Твой ангельски невинный, чистый лик³.

Потом она вспомнила об одном важном деле. Приведя дом в порядок – ее отец после учиненного им ночного переполоха спал беспробудным сном, – она отправилась в путь по тихим и пока еще безлюдным улицам, хотя солнце светило уже вовсю, в ту часть города, где поселилось

³ Из стихотворения «Детский портрет» английского поэта и драматурга Барри Корнуолла (наст. имя Брайан Уоллер Проктер; 1787–1874), изданного в сборнике «Английские песни» (1832).

семейство Ли. Когда она достигла цели, миссис Ли, привыкшая вставать с рассветом, как раз открывала ставни на окнах. Сьюзен тронула ее за руку и, не проронив ни слова, прошла в дом. Она опустилась на колени перед изумленной миссис Ли и заплакала так горько, как еще никогда в жизни не плакала. Кошмарная ночь выпила из нее все силы, и теперь, когда от ее воли уже ничего не зависело, она утратила самообладание и не могла выдавить из себя ни слова.

– Ах ты, бедняжка! Какое горе привело тебя в такой час? Скажи скорее. Ну-ну, ничего, поплачь, коли не можешь говорить. Облегчи сердце, после расскажешь.

– Нэнни умерла! – прорыдала Сьюзен. – Я оставила ее, мне надо было спуститься к отцу, а она упала с лестницы и разбилась. Ох, беда, беда!.. Но это не все. Ее мать... она сейчас у нас в доме! Пойдемте, взгляните, точно ли это ваша Лиззи.

Миссис Ли онемела от услышанного, но, хоть руки у нее тряслись, быстро оделась и не чуя под собой ног заспешила вместе со Сьюзен на Краун-стрит.

Глава четвертая

Когда они входили в дом на Краун-стрит, дверь открылась не полностью, словно ее заклинило, и Сюзен в недоумении окинула взглядом крыльцо. Помеха тотчас обнаружилась в виде маленького газетного свертка – с деньгами, как она догадалась.

– Смотрите! – с горечью сказала Сюзен, подняв свертки. – Вчера вечером мать снова подбросила деньги на ребенка.

Но миссис Ли ее не слушала. Всего несколько шагов отделяли ее, быть может, от пропавшей дочери, и она устремилась вперед на слабеющих ногах и с трепетом в сердце, которое готово было выпрыгнуть из груди. Она поднялась в темную, притихшую спальню и, не глядя на детский трупик, прошла к постели, отдернула занавеску и увидела Лиззи, но не прежнюю – пригожую, веселую, резвую, беззаботную. Нынешняя Лиззи выглядела много старше своих лет, ее красота померкла, глубокие морщины неизбывной заботы и – увы! – нужды (как представлялось матери) пролегли на щеках, таких кругленьких, гладких и румяных, когда ее лицо в последний раз радовало материнский взор. А ныне даже во сне оно хранило печать безысходности, даже во сне дочь разучилась улыбаться. Но эти несомненные приметы греха и горя, всего, что довелось ей испытать, только усиливали любовь матери к своему несчастному чаду. Она жадно вглядывалась в дорогое лицо, смотрела и не могла насмотреться. Потом наклонилась и поцеловала бледную руку, выпроставшуюся из-под простыней. Спящая не шелохнулась. Мать вернула ее руку на покрывало с бесконечной осторожностью, хотя в этом не было нужды – дочь все равно ничего бы не почувствовала. Она не подавала никаких признаков жизни, не считая того, что изредка из груди ее вырывался полувздых-полувсхлип. Миссис Ли долго сидела подле нее и все смотрела, не в силах оторваться и задернуть занавеску.

Сюзен тоже охотнее осталась бы подле своей ненаглядной девочки, но на ней лежало слишком много обязанностей. Так уж повелось, что все привыкли перекладывать свои заботы на ее плечи. Ее отец, с утра бывший не в духе после вчерашних излишеств, не преминул поставить ей в вину гибель маленькой Нэнни, и какое-то время она покорно сносила его попреки, но потом не выдержала и расплакалась. Тогда он попытался ее утешить, но так неуклюже, что лучше бы промолчал: оно и ладно, рассудил он, что ребенок помер, не их ребенок-то, нечего и горевать. Она в отчаянии заломила руки и, встав перед ним, взмолилась, чтобы он не говорил больше ни слова. Потом ей предстояло выполнить формальности, связанные с коронерским расследованием; предупредить всех, что уроки в школе отменяются; кликнуть соседского мальчика, чтобы сбегал к Уильяму Ли, которого, по ее мнению, необходимо было известить о местонахождении его матери и обо всем, что случилось. Она попросила гонца на словах передать Уиллу, чтобы он пришел к ней для разговора и что его мать уже здесь, в ее доме. К счастью, отец поплелся на ближайшую извозчичью биржу – разузнать последние сплетни и похвалиться своими ночными подвигами, вернее, тем, что сохранилось от них в его памяти; к счастью – поскольку он все еще пребывал в неведении относительно того, что в спальне наверху находятся две незнакомые женщины, обе в забытии, хотя и по разным причинам.

Уилл пришел в обеденный час – раскрасневшийся, взволнованный, радостно-нетерпеливый. Сюзен, напротив, очень спокойная, без кровинки в лице, встретила его мягким, любящим взглядом.

– Уилл, – негромко сказала она, глядя ему глаза в глаза, – в спальне наверху твоя сестра.

– Моя сестра! – повторил он упавшим голосом, и взор его помрачнел.

Это не укрылось от Сюзен, и на сердце ее набежало облако, но она не подала виду и невозмутимо продолжила:

– Оказалось, что она мать крошки Нэнни, о чем ты, вероятно, знаешь. Бедняжка Нэнни убила прошлой ночью – упала с лестницы.

После этих слов спокойствие покинуло ее, и долго сдерживаемая боль прорвалась наружу. Ноги у нее подломились, она села, спрятала от него свое лицо и горько заплакала. Он забыл про все на свете, кроме пылкого желания успокоить ее и приласкать. Наклонившись над ней, он обнял ее за талию:

– Ах, Сьюзен! Если бы я мог утешить тебя! Не плачь, ради Бога, не надо!

Он повторял одно и то же снова и снова, как заклинание, менялся только тон. Постепенно она справилась с собой, утерла глаза и посмотрела на него своим прежним спокойным, чистым, бесстрашным взглядом:

– Твоя сестра вчера ночью была возле нашего дома и слышала мой разговор с доктором. Сейчас она спит, твоя мать сидит подле нее. Я хотела, чтобы ты все узнал от меня. Ты поднимешься к матери?

– Нет! – ответил он. – Лучше побуду с тобой. Мама сказала мне, что теперь ты все знаешь. – Он потупил взор, вспомнив о семейном позоре.

Но его поистине святая в своей чистоте избранница не опустила и не отвела глаза:

– Да, я все знаю – все, кроме ее мук. Страшно подумать!

– Она их заслужила, все до единой, – глухо ответил он.

– В глазах Божьих, может быть. *Ему* судить, не нам. Ох, Уилл Ли! – внезапно вспыхнула она. – Я была о тебе такого хорошего мнения. Не вынуждай меня думать, что ты бессердечен. Праведность не праведность без доброты, без милосердия! Подумай о матери с разбитым сердцем, которая нынче вновь обрела свое дитя, подумай о ней!

– Я думаю о ней, – сказал он. – И помню про обещание, которое дал ей вчера вечером. Только мне нужно время. Дай срок, и я сделаю все как надо. Я еще не успел ничего обдумать. Но я сделаю все как надо, как правильно, не беспокойся. Ты очень хорошо мне все растолковала, Сьюзен, рассеяла мои сомнения. Я так тебя люблю, что мне больно слышать твои упреки. Если я замешкался и не наобещал сгоряча чего угодно, то потому только, что даже из любви к тебе не стану говорить того, в чем сам не уверен. А я не был уверен, что ты примешь меня, все это так неожиданно... Но я не бессердечный. Кабы я был такой, стал бы я горевать и поедом себя есть!

Он двинулся было к выходу, ему и впрямь показалось, что лучше обдумать все одному, в тишине. Но Сьюзен, кляня себя за неосторожные и, пожалуй, обидные слова, приблизилась к нему сзади на пару шагов, в нерешительности остановилась и, зардевшись, почти шепотом сказала:

– Ах, Уилл! Я прошу прощения. Я не должна была... Ты простишь меня?

Всегда до робости сдержанная, она говорила с такой безграничной кротостью, какую только можно себе представить, и глаза ее то умоляюще поднимались на него, то стыдливо опускались долу. Ее очаровательное смущение было красноречивее всяких слов. Уилл вернулся к ней, сам не свой от счастья, что любим ею, схватил ее в объятия и расцеловал:

– Сьюзен, любимая!

Тем временем в комнате наверху мать не сводила глаз со своей крепко спящей дочери.

Лиззи проснулась только вечером, снотворное оказалось сильнодействующим. Открыв глаза, она увидела перед собой мамино лицо и долго смотрела на него не мигая, словно завоженная. Миссис Ли сидела неподвижно, как изваяние. Ей казалось, что малейшее движение разрушит чары и вместе со сковавшим ее оцепенением она утратит и способность владеть собой. Первой не выдержала Лиззи.

– Мама, не смотри на меня! Я гадкая, испорченная! – вскрикнула она, словно ее пронзила нестерпимая боль; она зарылась лицом в простыни и застыла на постели, как мертвая.

Миссис Ли опустила на колени и принялась ласково успокаивать ее:

– Лиззи, милая, не надо так говорить. Я же твоя мама, доченька, не бойся. Я как любила тебя, так и сейчас люблю. Я думала о тебе непрестанно, Лиззи. Твой отец перед смертью простил тебя. – (При этих словах тело под простынями судорожно дернулось, но никакого воз-

гласа не последовало.) – Лиззи, родная моя, я для тебя что хочешь сделаю, жить буду тобой одной, ты только не бойся меня... Такая ты, не такая, о том мы не будем вспоминать. Забудем прошлое и вернемся на Ближнюю ферму. Я и уехала оттуда, чтобы найти тебя, доченька, и Бог привел меня к тебе! Хвала Господу! Бог милостив, Лиззи. Ты ведь помнишь, что сказано в Писании, Лиззи, знамо дело помнишь, ты ж у меня ученая. Я-то едва читаю, зато кое-что выучила наизусть, и повторяла про себя по многу раз на дню, и находила в том утешение. Лиззи, доченька, не прячь от меня лицо, это же я, твоя мама! Давеча я держала на руках твое дитя... Твой ангелочек заступится за тебя перед Всевышним. Ну не надо, не убивайся ты так, вы еще встретитесь на небесах. Я знаю, ты не чаешь попасть туда, к своей Нэнни. И верь мне, Господь не отринет того, кто раскаялся... Ты только ничего не бойся, ладно?

Миссис Ли молитвенно сложила руки и без конца повторяла ласковые слова утешения и поддержки, все, какие могла припомнить, старясь говорить как можно яснее. По дыханию дочери она понимала, что та ее слушает, но у нее самой голова шла кругом и скоро уже не было сил продолжать. Она с трудом сдерживала рыдания.

Но вот дочь подала голос:

– Куда ее унесли?

– Она в доме, внизу. И личико у нее спокойное, светлое.

– Она умела говорить? Ох, если бы Бог дал... Если бы я хоть раз услышала ее голосок!.. Я так мечтала об этом, мама! Увижу ли я ее... Ах, мама, ведь если я буду очень стараться и Господь смиростивится надо мной и возьмет меня на небо, я не узнаю ее... не узнаю мою доченьку... Она отвернется от меня, как от чужой, и будет цепляться за Сьюзен Палмер, за тебя! Горе, горе мне!.. – Она сотрясалась от душившей ее нестерпимой тоски.

Впервые позволив себе высказать все, что терзало ей душу, она открыла лицо и пристально посмотрела на мать, словно хотела прочесть ее мысли. И когда увидела мокрые от слез старческие глаза и дрожащие губы, кинулась ей на шею и, как в детстве, заплакала на маминой груди. Сколько раз она прибегала к ней со своими детскими горестями, не ведая, что значит настоящее, неутешное горе!

Мать прижала ее к себе и стала баюкать-уговаривать, как маленькую, и мало-помалу Лиззи успокоилась и затихла.

Так они сидели долго-долго, пока Сьюзен Палмер не принесла им чаю и хлеба с маслом. Сев в уголке, Сьюзен смотрела, как мать кормит свое больное дитя, как ласковыми уговорами заставляет дочку проглотить еще кусочек. Ни та ни другая не замечали ее присутствия. Ночью они спали в обнимку, а Сьюзен устроилась на полу.

Детский трупик (крохотную невинную жертву, чья безвременная кончина вернула под отчий кров несчастную грешницу-мать) отвезли на холмы, которых она при жизни так и не увидела. Они не решились похоронить дитя подле сурового деда на погосте в Милнроу, и местом упокоения Нэнни стало всеми позабытое маленькое кладбище, затерянное среди вересковых пустошей: в стародавние времена квакеры хоронили там своих мертвецов. Ее опустили в землю на солнечном склоне, где по весне расцветают первые цветы.

Теперь Уилл и Сьюзен живут на Ближней ферме. Миссис Ли и Лиззи – в укромной хижине, которую нельзя увидеть, пока не спустишься на дно лощины. Том учителствует в Рочдейле и вместе с Уиллом помогает матери сводить концы с концами. Но хотя хижина и скрыта от глаз в зеленой лощине, я твердо знаю, что всякий звук беды на окрестных холмах достигает ее – всякому призыву о помощи чутко внимает добрая женщина с печальным лицом, которое лишь изредка освещает улыбка (и печали в той улыбке больше, чем в иных слезах!); заслышав крик отчаяния, она покидает свое уединенное жилище и идет к тем, чей дом накрыла черная тень болезни или горя. Не счесть всех, чьи благодарные сердца благословляют Лиззи Ли, но сама она... Она непрестанно молит Бога о прощении и о том, чтобы всемилостивый Господь позволил ей снова увидеть свое дитя. Миссис Ли живет в мире и покое. Лиззи для

нее бесценное сокровище, однажды утраченное, но счастливо обретенное вновь. А Сьюзен, как ясное солнышко, всех одаряет теплом и светом. У нее подрастают собственные дети, и для них она все равно что святая. Одну из девочек зовут Нэнни. Ее Лиззи часто берет с собой, когда идет проведать могилку на солнечном склоне, и пока девочка собирает ромашки и плетет венки, Лиззи сидит у могильного камня и горько плачет.

Сердце Джона Миддлтона

Я родился в Соули, куда на рассвете падает тень от холма Пендл-Хилл. Думаю, деревушка появилась при монахах, у которых там было аббатство. У одних домиков чудной старинный вид, другие построены из камней аббатства и сланцевой глины из соседних карьеров, а на стенах и дверных перемычках много затейливой резьбы. Есть еще сплошной ряд одинаковых домов, выстроенных не так давно, когда некий мистер Пил приехал сюда, чтобы использовать энергию реки, и дал толчок новой жизни, хотя и, сдается мне, совсем не похожей на ту степенную размеренную жизнь, что неторопливо текла здесь во времена монахов.

А в мое время в шесть часов утра звучал колокол и толпа спешила на фабрику; возвращались ровно в двенадцать, но даже ночью, когда работа заканчивалась, мы все равно не замедляли шаг после спешки и суеты целого дня. Сколько себя помню, я всегда ходил на фабрику. Отец по утрам тащил меня туда наматывать для него катушки. Матери своей я не помню. Я не стал бы таким дурным человеком, если бы слышал рядом звук ее голоса или видел ее лицо.

Мы с отцом квартировали у одного человека, который тоже работал на фабрике. Жили мы все в страшной тесноте, так много народу приехало в Соули из разных частей страны за заработком, а дома, о которых я говорил, построили еще не скоро. Пока они строились, отца выгнали с квартиры за пьянство и недостойное поведение, и мы с ним спали в печи для обжига кирпичей, то есть когда вообще спали, потому что частенько отправлялись браконьерствовать, и не одного зайца и фазана, обмазав глиной, запек я в тлеющих углях той самой печи. Как и положено, на следующий день я засыпал на работе, валясь на пол, словно безжизненный ком, но отец, хоть и знал причину моей сонливости, безжалостно пинал и проклинал меня, ругая последними словами, пока я из страха перед ним не поднимался и снова не принимался за свои катушки. Но стоило ему отвернуться, я сполна возвращал ему все ругательства и проклятия, жалея, что я не взрослый и не могу ему отомстить. Исполненных ненависти слов, произнесенных тогда, я не осмелился бы теперь повторить, однако еще сильнее была ненависть в моем сердце. Ненависть поселилась во мне с незапамятных времен. Научившись читать и узнав об Исаиле, я решил, что происхожу из его проклятого племени, потому что был между людьми как дикий осел: руки мои были на всех, и руки всех на мне⁴. Однако лет до семнадцати или даже дольше я совсем не интересовался Библией и поэтому не хотел учиться чтению.

Когда дома достроили, отец снял один из них и стал пускать постояльцев. Мебели почти не было, зато всегда хватало соломы и печи хорошо топились, а многие превыше всего ценят тепло. У нас жил самый сброд. Мы ужинали среди ночи; дичи было достаточно, а если ее не оказывалось, можно было украсть домашнюю птицу. Днем мы делали вид, что работаем на фабрике. По ночам объедались и пьянствовали.

Словом, ткань моей жизни была совсем черной и грубой, однако постепенно в нее начала вплетаться тоненькая золотая нить – забрезжил свет милости Божией.

Однажды ветреным октябрьским утром, нехотя идя на работу, я подошел к небольшому деревянному мостику через ручей, впадающий в бурную говорливую речку Бриббл. На мостике спиной ко мне стояла девочка, держа на голове кувшин, с которым пришла за водой. Она была такой легонькой, что, если бы не тяжесть полного кувшина, ветер почти наверняка подхватил бы ее и унес, как он уносит семена одуванчиков; он раздувал ее синее хлопчатобумажное платье, и казалось, она расправляет крылья перед полетом; девочка обернулась ко мне, как будто с просьбой, но, увидев, кто перед ней, заколебалась, потому что у меня в деревне была дурная слава и ее, без сомнения, об этом предупреждали. Но сердце ее было слишком чистым для

⁴ Согласно Библии, Исаил (Измаил) – старший сын Авраама, первого из трех еврейских патриархов, от рабыни Агари: «Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него» (Быт. 16: 12).

недоверия, и она робко обратилась ко мне: «Прошу вас, Джон Миддлтон, перенесите, пожалуйста, этот тяжелый кувшин через мост».

Впервые в жизни со мной говорили так вежливо. Отец и его грубияны-приятели помыкали мной, оскорбляли и проклинали меня, если я не исполнял их желаний, а если исполнял, не выражали ни признательности, ни благодарности. Мне сообщали то, что мне требовалось знать. Но ласковые слова просьбы или пожелания были мне до тех пор неведомы, и их мягкий и нежный звук отзывался в моих ушах, как перезвон далеких колокольчиков. Мне хотелось ответить должным образом, но, хотя мы были равны по положению, была между нами огромная разница, из-за которой я не умел говорить на ее языке, выражая скромную просьбу любезными словами. Мне ничего не оставалось, как, смутившись, неловко взять кувшин и, следуя ее просьбе, молча перенести его через мост. Когда я отдал ей кувшин, она поблагодарила меня и вприпрыжку убежала, а я стоял и безмолвно глазел ей вслед, как последний неотесанный невежа, коим я и был. Я прекрасно знал, кто эта девочка. Она была внучкой Элеанор Хэдфилд, пожилой женщины, которую мой отец и его приятели называли ведьмой, насколько я могу судить – лишь из-за достоинства, с которым она держалась, и того бесстрашия, с которым она выражала свое презрение и враждебность к ним. Мы и правда нередко встречали ее в серых рассветных сумерках, возвращаясь после браконьерских вылазок, и отец шепотом проклинал ее как ведьму вроде тех, которых давным-давно сожгли на вершине холма Пендл-Хилл; однако я слышал, что Элеанор – умелая сиделка, всегда готовая оказать услугу тем, кто болен; и кажется, она тогда возвращалась после целой ночи (ночи, которую мы провели под безбожным небом и в безбожных занятиях), проведенной у постели тех, кому суждено было умереть. Нелли была ее осиротевшей внучкой, ее маленькой помощницей, ее самым ценным достоянием, ее единственным сокровищем. Много дней пытался я подкараулить ее у ручья, надеясь, что, на мое счастье, на долину обрушится порывистый ветер и я снова ей пригожусь. Я повторял слова, с которыми она ко мне обратилась, стараясь повторить тон ее речи, но удача мне так и не улыбнулась. Думаю, она и не догадывалась, что я ее поджидал. Я узнал, что она ходит в школу, и решил во что бы то ни стало тоже туда пойти. Отец поднял меня на смех, но мне было все равно. Я понятия не имел о чтении и о том, что надо мной, здоровенным семнадцатилетним парнем, вероятно, станут насмехаться, когда я приду учить алфавит вместе с кучей малышей. Для себя я все твердо решил. Нелли ходит в школу, там я, вернее всего, смогу видеть ее и слышать ее голос. Значит, туда я и пойду. Отец отговаривал меня, ругал, угрожал мне, но я стоял на своем. Он сказал, что школа мне через месяц надоест и я ее брошу. Я с проклятиями, о которых не хочу даже вспоминать, поклялся, что выдержу год и научусь читать и писать. Отцу была противна самая мысль о том, чтобы учиться читать, он сказал, что чтение лишает человека силы; кроме того, он считал, что имеет право на весь мой заработок до последнего пенни, и, хотя в хорошем настроении мог щедро угостить меня пивом, жалел двух пенсов в неделю на школу. Однако в школу я все-таки пошел. Она оказалась совсем не похожей на то, что я себе представлял. Девочки сидели с одной стороны, мальчики – с другой, так что я оказался далеко от Нелли. Она тоже была в первом классе; меня посадили вместе с малолетками, за которыми еще нужен был присмотр. Учитель сидел в середине комнаты и очень строго за нами наблюдал. Зато я видел Нелли и слушал, как она читает вслух свой урок из Книги; и даже когда он был полон трудных имен, которые учитель любил задавать ей, чтобы показать, как хорошо она с ними справляется, ни разу не запнувшись, мне это казалось самой сладкой музыкой. Иногда она читала другие главы. Я не знал, правда в них или ложь, но слушал, потому что она читала, и постепенно стал задумываться. Помню, как в первый раз заговорил с нею, спросив (когда мы выходили из школы), кто такой Отец, о котором она в тот день читала, потому что, когда она произносила «Отче наш», голос ее становился благоговейным шепотом, который поразил меня сильнее, чем самое громкое чтение, настолько он был исполнен любви и нежности. Когда я спросил ее об этом, она возмущенно взглянула на меня своими

большими голубыми глазами, но потом возмущение уступило место жалости и сочувствию, и она едва слышно ответила тем же тоном, каким произносила «Отче наш»:

– Разве вы не знаете? Это Бог.

– Бог?

– Да, тот Бог, о котором рассказывает мне бабушка.

– А вы не расскажете мне, что она говорит?

И вот мы уселись на насыпь у изгороди, она чуть повыше, чем я, и я смотрел снизу на ее лицо, пока она пересказывала мне все священные тексты, которым научила ее бабушка, объясняя как могла про Всемогущего. Я молча слушал, потрясенный до глубины души. По молодости своей она знала лишь то, что заучила наизусть, но мы в Ланкашире говорим на суровом языке Библии, и мне все было понятно. Я поднялся на ноги в полном ошеломлении и так же молча направился прочь, но тут вспомнил о хороших манерах, вернулся и впервые, сколько себя помню, сказал: «Спасибо». Для меня это был во многих отношениях великий день.

Я всегда был из тех, кто, раз выбрав цель, не отступает от нее. Мне хотелось узнать Нелли поближе. Больше меня ничто не заботило. Поэтому на все остальное я не обращал внимания. И хотя учитель бранил меня, а малыши надо мной потешались, я все вытерпел, не изменив своего намерения. Я продержался в школе год, выучившись читать и писать; правда, не столько из-за своей клятвы, сколько ради хорошего мнения Нелли обо мне. К этому времени мой отец совершил ужасное преступление, и ему пришлось удариться в бег. Я был этому рад, потому что никогда не любил и не ценил его и хотел отделаться от его компании. Однако это оказалось непросто. Честные люди сторонились меня, и лишь дурные встречали с распростертыми объятиями. И даже у Нелли доброе отношение как будто смешивалось со страхом. Я был сыном Джона Миддлтона, которого, попадись он, повесят в Ланкастерском замке. Иногда мне казалось, что она смотрит на меня с каким-то жалостливым ужасом. А другие и ради приличия не старались скрывать свои чувства. Сын надсмотрщика на фабрике без конца попрекал меня отцовским преступлением; теперь он припомнил и его браконьерство, хотя я прекрасно знал, сколько раз сам он сытно ужинал той дичью, которую мы приносили ему, чтобы он и его отец спускали нам опоздания по утрам. А разве могли такие, как мой папаша, честным путем добыть дичь?

Этот парень, Дик Джексон, отравлял мне жизнь. Он был на год или два старше меня и имел большую власть над рабочими фабрики, потому что докладывал своему отцу, что хотел. Я не всегда мог сдержаться, когда он ставил мне в счет прегрешения моего отца, и в сердцах давал отпор. Это не шло мне на пользу и лишь еще больше отталкивало от меня добропорядочных людей, которых приводили в ужас изрыгаемые мною проклятия – богохульства, знакомые с детства, которые я не мог забыть и теперь, хотя с радостью избавился бы от них; все это время Дик Джексон стоял рядом с понимающей усмешкой на лице, а когда я умолкал, едва дыша от измучившей меня ярости, поворачивался к тем, чье уважение я так хотел заслужить, и спрашивал, не правда ли, я достойный сын своего родителя и пойду по его стопам. Но дело не ограничивалось его насмешливым безразличием к моему бессильному гневу, хотя это и было самое худшее, из-за чего в сердце моем росла мучительная ненависть, затеняя его, как растение пророка Ионы. Но то давало милосердную тень, защищая пророка от палящего солнца⁵, моя же ненависть сжигала все вокруг.

Дик Джексон сделал еще кое-что. Отец его знал толк в своем деле и был хорошим человеком; мистер Пил высоко ценил старого Джексона и не уволил, хотя здоровье у него было уже не то, что прежде; а когда у него больше не было сил ходить на фабрику, он доверил своему

⁵ «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень и чтобы избавить его от огорчения его...» (Ион. 4: 6).

сыну смотреть за рабочими и докладывать ему обо всем. Слишком большая власть для такого молодого человека – сейчас я говорю это спокойно. Каким бы ни стал Дик Джексон, в ином мире ему зачтется то, что в молодости он подвергся сильному искушению. Но в то время, о котором я веду речь, ненависть моя полыхала огнем. Я был уверен, что именно из-за него меня не считают достойным общества добропорядочных и честных людей. Мне смертельно надоела моя преступная и разгульная жизнь, я хотел изменить ее и сделаться трудолюбивым, трезвым, честным, научиться правильно говорить (тогда это казалось мне высшей добродетелью), но все мои попытки натывались на презрительные ухмылки и издевательства Дика Джексона. Целыми ночами расхаживал я по старому монастырскому лугу, размышляя, как бы его обхитрить и вопреки его ухищрениям завоевать уважение людей. К молитве я впервые в жизни обратился, опустившись на колени у древних стен аббатства под безмолвными звездами, воздев руки к небесам и прося Бога послать мне силы, чтобы отомстить своему врагу.

Прежде я слышал, что, если молиться по-настоящему, Бог даст просимое, и думал, что молитва поможет мне добиться исполнения желаний. Я молился от всего сердца, надеясь, что Бог услышит мою мольбу, и никогда еще греховные слова не звучали с такой силой. И позже Бог услышал мою просьбу и явил мне свою милость! Нелли все это время я видел нечасто. Бабушка ее все слабела, и у Нелли было много забот дома. Кроме того, мне казалось, что лицо ее выражает отвращение ко мне, и я решил избегать встреч с нею, пока не смогу честно смотреть в глаза людям, не страшась ничьих обвинений. Хорошую репутацию заслужить можно, мне это непременно удастся – и мне это удалось, но ни один человек, выросший среди добропорядочных людей и не знавший искушения, представить себе не может, какую невыразимо тяжкую задачу я себе задал. По вечерам я сторонился людей, потому что привечали меня лишь старые приятели моего родителя, всегда готовые включить сильного молодца в свою компанию, а честные и добропорядочные люди держались настороженно. И я сидел дома и предавался чтению. Казалось бы, куда проще было заслужить доброе имя вдаль от Соули, где никто не знал ни меня, ни моего отца. Так оно и есть, но для меня это было бы совсем не то. И, кроме того, в Соули жила Нелли, в которой я видел образец добропорядочности. Под ее взором я выправлю свою жизнь и добьюсь уважения. Так прошло два года. Каждый день я отчаянно боролся, и каждый день Дик Джексон противостоял моим усилиям, и я оставался для всех все тем же достойным лишь презрения сыном преступника – безрассудным, необузданным, обуреваемым страстями, созревшим для преступной жизни. Что толку от умения читать и писать? Оно ничего не стоило в глазах тех людей, к кому меня отбрасывала судьба, вызывая их насмешки. Теперь я мог бы прочесть любую главу из Библии, а Нелли так никогда и не узнает об этом. Я все глубже погружался в те немногие книги, которые имел. Торговцы приносили их в своих мешках, и я покупал, что мог. У меня были «Семь героев» и «Путь паломника»; я считал их одинаково чудесными и правдивыми. Я купил «Рассказы благородного Джона Байрона» и «Потерянный рай» Мильтона, но мне не доставало знаний, чтобы в них разобраться. И все же книги доставляли мне удовольствие, позволяя отвлечься от себя и своих горестей и забыть, по крайней мере на время, о снедавшей меня ненависти к Дику Джексону.

Когда Нелли было около семнадцати, ее бабушка умерла. Я стоял в стороне от всех во дворе церкви, наблюдая за похоронами. Это была первая в моей жизни церковная служба, и она тронула меня до слез, чего я тогда устыдился. Слова были исполнены покоя и святости, и меня потянуло в церковь, но я не осмелился войти, потому что никогда там не был. Приходская церковь была далеко, в Болтоне, что служило оправданием для всех, кто не хотел ее посещать. Когда священник умолкал, я слышал рыдания Нелли, и их звук проникал мне в самое сердце. Выйдя из церкви, она прошла совсем близко, я мог бы к ней прикоснуться, но голова ее была опущена, и я не решился с нею заговорить. Затем я задался вопросом: что ждет ее? Ей нужно зарабатывать на жизнь – станет ли она прислугой на ферме или работницей на фабрике? Я слишком хорошо знал жизнь тех и других и не мог не тревожиться о ней. Я достаточно зараба-

тивал, чтобы обзавестись семьей, если бы захотел, но ни одну женщину, кроме Нелли, не хотел бы назвать своей женой. Однако в то время я не женился бы на ней, даже если бы мог, потому что не стал еще тем уважаемым человеком, которым должен быть муж Нелли. Вот пойдет обо мне добрая слава, я открою ей свое сердце – и будь что будет, а пока наберусь терпения. Я твердо верил, что рано или поздно мои упорные усилия должны увенчаться успехом и тогда хорошие люди обязательно изменят обо мне свое мнение и примут меня. Однако что тем временем станется с Нелли? Я подсчитал свои доходы и отправился к самой достойной женщине в деревне узнать, во что обойдется содержание девушки, которая будет жить в ее доме как дочь и помогать ей по хозяйству; та посмотрела на меня с подозрением. Я сдержался и сказал ей, что близко не подойду к дому, даже эту часть деревни стану обходить стороной и что девушка, о которой я веду речь, будет думать, что за нее платит приход. Это не помогло – она все равно не доверяла мне; но я знаю, что смог бы сдержать слово, к тому же ни за что на свете я не считал бы Нелли чем-то обязанной мне, потому что это наложило бы тень обязательства на ее любовь – ту любовь, которую я всей душой стремился заслужить не как признательность за мои деньги или мою доброту, а как чувство ко мне самому. Потом я узнал, что Нелли нашла место прислуги в Болланде, и подумал, почему бы не поговорить с нею хотя бы раз до ее отъезда. Я хотел только по-дружески выразить ей соболезнование в ее горе. Я был уверен, что смогу управлять своими чувствами. И вот в воскресенье накануне ее отъезда из Соули я поджидал ее у лесной тропинки, по которой, как мне было известно, она пойдет после дневной службы. Птицы так заливисто щебетали среди листвы, что я не слышал звука приближающихся шагов, пока они не раздались совсем рядом, а вместе с ними и два голоса. Лес был в той части Соули, где Нелли жила у друзей, и тропинка вела только к их дому, и я был уверен – это она, потому что видел, как она в одиночку направлялась в церковь.

Но кто же второй?

Сердце мое остановилось, и кровь ударила в голову, когда я увидел Дика Джексона. Неужели вот так все и закончится? Следуя по стопам своего отца, я был готов ринуться на путь греха, навстречу своей смерти и вечному проклятию. Стоя за деревом, я мечтал об оружии, чтобы убить негодяя. Как он посмел приблизиться к моей Нелли? А она тоже хороша – изменница, думал я, забыв, что она никогда не оказывала мне особого внимания и что я едва перемолвился с нею парой слов, да еще и таких неловких; и я возненавидел ее за предательство. Все эти чувства обуревали меня, пока я стоял там, потеряв голову и ослепнув от ярости. Присмотревшись, я увидел, что Дик Джексон держит ее за руку и быстро говорит что-то хриплым шепотом, как человек, охваченный страстью. Она была бледна и растеряна, но вдруг после какого-то его слова (она так никогда и не сказала мне, что это было за слово) она взглянула на него как на врага рода человеческого и вырвала свою руку. Он вновь схватил ее и продолжил свои страстные нашептывания, звук которых был мне глубоко противен. Я не мог больше этого выносить – и не считал нужным – и вышел из-за дерева. При виде меня она справилась с охватившим ее отчаянием, шагнула мне навстречу и приникла ко мне, и это придало мне такой силы, что я бы горы мог свернуть. Я обнял ее одной рукой, не отводя глаз от него; мои глаза, как пламя, проникали в его душу, сжигая ее дотла. Он не произнес ни слова, делая вид, что я ему не страшен; наконец не выдержал и опустил глаза, а я не смел заговорить, потому что из уст моих рвались прежние страшные проклятия и я боялся выпустить их наружу, чтобы не напугать мою дрожащую бедняжку Нелли.

В конце концов он сделал движение в мою сторону, и я отодвинул Нелли с тропинки, чтобы дать ему пройти. Она инстинктивно плотнее завернулась в шаль, словно стремясь избежать его случайного прикосновения; думаю – нет, уверен, – это уязвило его и побудило к жалкой и страшной мести. Пока я стоял к нему спиной, пытаюсь найти слова, чтобы успокоить Нелли, она в ужасе, словно загипнотизированная, не сводила с него глаз и заметила, как он схватил острый камень и бросил в меня. Бедняжка! Она прикрыла меня своим нежным телом,

как щитом. Камень попал в нее, и она, не издав ни звука, ни стона, бездыханной упала к моим ногам. А он трусливо сбежал, увидев, что натворил. Я остался один с Нелли в мрачной глубине леса. В дрожащем зеленоватом свете она казалась мертвой. Я донес ее до дома друзей, не ведая, живое или мертвое тело держу на руках. Ничего не объяснив, я без промедления как безумный помчался за врачом.

Что говорить! До сих пор не могу возвращаться мыслью к тому времени. Пять недель я прожил в муке неведения, находя облегчение лишь в планах жестокой мести. Я и прежде его ненавидел, а уж теперь... Казалось, нам двоим нет места на земле и одному из нас прямая дорога в геенну огненную. Я бы не задумываясь убил его, и сердце мое не дрогнуло бы, но это казалось мне слишком легкой и ненадежной мезтью. Со временем – о, мука ожидания! о, мое истерзанное сердце! – Нелли стало лучше, насколько это было возможно. Яркий румянец не играл больше на ее лице, губы подрагивали и кривились от сдерживаемой боли, глаза застилала слезы, вызванные страданием; я же теперь любил ее в тысячу раз сильнее, чем прежде, когда она была в расцвете своей красоты. И самое главное, я почувствовал, что безразличен ей. Знаю, бабушкины друзья отговаривали ее, напоминая, что я из дурной семьи; но прошло то время, когда предостережения со стороны имели силу, и Нелли любила меня таким, каков я был, с намешанным во мне дурным и хорошим и совершенно недостойным ее. Теперь мы много говорили друг с другом, как те, чьи жизни неразрывно связаны. Я сказал, что женюсь на ней, как только она выздоровеет. Ее друзья неодобрительно качали головами; однако, видя, что она уже не годится ни для службы на ферме, ни для какой другой тяжелой работы, наверное, решили, как принято, что лучше плохой муж, чем никакого. Словом, мы поженились, и я не уставал благодарить Господа за незаслуженное счастье. Она жила, как настоящая леди. Я был хорошим работником и неплохо зарабатывал и старался удовлетворить любое ее желание. Бедная Нелли! Желаний у нее было совсем немного, и удовлетворить их было нетрудно. Но и пожелай она чего-нибудь особенного, я счел бы это наградой за незнакомое мне прежде священное чувство дома. Я был послушен ей, как ребенок, повинуюсь нежному очарованию ее голоса и неизменно ласковым словам. Она всегда просила за тех, кто вызывал мой гнев и неистовую горячность; лишь имя Дика Джексона ни разу не было произнесено за все это время. По вечерам она сидела, откинувшись на спинку, в соломенном кресле и читала мне вслух. Так и вижу ее, слабенькую и бледную, с милым юным личиком, освещенным чудесными серьезными глазами, которые наполняются слезами, когда она рассказывает мне о жизни и гибели Спасителя. И я всем сердцем хотел быть с Ним и отомстить за Него злобным нечестивым иудеям. Больше всех Его учеников я любил Петра. Я и сам брал в руки Библию и читал главы Ветхого Завета о могущественном гневе Божиим, зная, что рано или поздно моя вера одержит победу и Он воздаст моему врагу по заслугам.

Примерно через год Нелли родила ребенка – девочку с такими же, как у нее, глазами, которые серьезно и открыто смотрели вам прямо в душу. Нелли поправлялась очень медленно. Дело было перед зимой, хлопок в тот год не уродился, и мастеру пришлось уволить многих рабочих. Я был уверен, что меня оставят, потому что я работал прилежно и был на хорошем счету; но и в этот раз Дик Джексоу удалось мне навредить. Он вынудил своего отца уволить меня одним из первых, и я накануне зимы оказался без работы, с женой и младенцем на руках, а на оставшиеся деньги едва можно было прожить, пока я найду следующее место. Перед Рождеством все мои сбережения закончились, и в доме не было денег даже на еду для грядущего праздника. Нелли выглядела истощенной и измученной, ребенок плакал и просил молока, которого у его бедной голодной матери больше не было. Моя правая рука еще не утратила своей сноровки, и я опять отправился браконьерствовать. Я знал, где обычно собирается вся компания, и был уверен, что меня ждет теплый прием – намного более радужный, чем тот, что оказывали мне добрые люди, когда я пытался войти в их круг. По дороге я наткнулся на старика, который был приятелем моего отца в его молодые годы.

– Что, паренек, – спросил он, – решил вернуться к прежнему занятию? Оно-то сейчас вернее будет, когда хлопок подвел.

– Да уж, – ответил я, – из-за него мы все ноги протянем с голоду. Один-то я бы вытерпел, но ради жены и ребенка любой грех на душу возьму.

– Нет, парень, – сказал он, – браконьерство не грех, нет против него Божьего закона, только людской.

У меня не было сил на долгие споры – я два дня крошки во рту не имел. И все же я пробормотал:

– Во всяком случае, я думал, что покончил с этим раз и навсегда. Моего отца оно до добра не довело. Я приложил все силы. Но теперь сдаюсь. Мне все равно, правое это дело или нет. Некоторые обречены с самого начала – и я из таких.

Говоря это, я с мучительной ясностью увидел будущее, которое разведет чистой душой и безгрешную Нелли и меня, безрассудного и отчаявшегося, и мною овладела непреодолимая тоска. В тот же миг над лесом раздался радостный звон колоколов болтонской церкви, торжественно разнесшийся в полуночном воздухе; звук был такой чистый и ликующий, словно все сыны зари радовались своему спасению. Наступило Рождество, а я чувствовал себя изгоем, которому отказано в спасении и радости. И тут старый Иона произнес:

– Вот и рождественские колокола. Знаешь, Джонни, сынок, что-то неохота мне брать такого слабака в дело. Ты все толкуешь про правое и неправое, а мы не забиваем себе голову всеми этими судейскими штучками, зато живность добываем исправно. Так что не возьму я тебя к себе, тебе это не в радость, да ты и замешкаешься, как дойдет до дела. Но сдастся мне, что ты решил пойти против себя из-за хворой жены и малютки. А я ведь был другом твоего отца, пока он не пошел по кривой дорожке, и у меня для тебя есть пять шиллингов и баранья нога. Я не приму в компанию голодающего, но если ты придешь на сытый желудок и скажешь: «Ребята, мне по душе ваша жизнь, и я в первую же звездную ночь с радостью пойду с вами», – тут уж мы примем тебя с легкой душой; а на сегодня хватит разговоров – пошли за мясом и монетами.

Я смирил гордыню и горячо поблагодарил его. Взял мясо и сварил для моей страдальницы Нелли бульон. Не знаю уж, спала она или была в беспамятстве, только я разбудил ее, усадил в кровати и, придерживая одной рукой, скормил ей чайную ложку бульона, и в глазах ее вновь появился блеск, а на губах – бледная, как лунный свет, улыбка; она простодушно прочла благодарственную молитву и уснула, прижав ребенка к груди. Я сидел у очага, прислушиваясь к звуку колоколов, доносившемуся до моего жилища вместе с порывами ветра. Я страстно желал второго пришествия Христа, о котором говорила мне Нелли. Мир представлялся мне суровым и жестоким, мне его было не одолеть, и я молился о том, чтобы Он позволил мне ухватиться за край Его одежд и выдержать тяжелые времена, когда я падал и истекал кровью, не встречая ни милосердия, ни помощи ни от кого, кроме старого трактирщика Ионы, несчастного грешника. Подобно всем, к кому жизнь была неласкова, я не переставая думал лишь о себе и о выпавших на мою долю несчастьях. Я перебирал в уме свои горести и страдания, и в сердце моем горела ненависть к Дику Джексону; и вслед за колокольным звоном, звучащим то громче, то тише, ослабевала моя надежда на то, что наступит то чудесное время, предвестником которого он был, когда моего врага сметет с лица земли. Я взял Библию Нелли, но обратился не к благословенной истории рождения Спасителя, а к повествованию о предшествовавших ему временах, в которые иудеи столь жестоко покарали всех своих недругов. Я воображал себя иудеем, вождем своего народа. Дик Джексон был фараоном, как царь Агаг, дрожащий в надежде, что горечь смерти миновала, – короче говоря, он был поверженным врагом, над которым я торжествовал с Библией в руках, той самой Библией, где записаны слова Спасителя нашего, сказанные на кресте. Однако я не придавал тем словам значения, я почти не заметил их, как не замечаешь дорогу в тумане в звездную ночь, а вот истории Ветхого Завета в кровавом свете заката каза-

лись мне величественными. Постепенно день пришел на смену ночи и принес с собой безмятежные звуки рождественских песен. Они разбудили Нелли. Услышав, что она пошевелилась, я подошел к ней и сказал:

– Нелли, в доме есть деньги и еда; тебе хватит, чтобы продержаться, а я пойду в Падихам искать работу.

– Пожалуйста, не уходи сегодня, – ответила она и попросила: – Не мог бы ты хоть раз пойти со мной в церковь?

Дело в том, что я был в церкви только в день нашей свадьбы, и потом Нелли не раз просила меня сходить с нею туда; вот и сейчас она умоляюще глядела на меня, и вздох разочарования готов был сорваться с ее губ в ожидании отказа. Но на сей раз я не отказал ей. Прежде меня удерживала мысль о том, что я недостойн войти в церковь; теперь же меня охватило такое отчаяние, что я решился бы на что угодно. Хотя меня и считали христианином, в сердце своем я оставался нечестивым язычником, готовым вновь ступить на греховный путь. Я решил, если не сумею найти работу в Падихаме, пойти по стопам отца и, полагаясь на свою силу и сноровку, добывать то, что мне мешало добыть честным путем. Я намеревался покинуть Соули, где надо мной словно висело проклятие; так отчего бы и не сходить в церковь, даже если происходящее там мне непонятно? Я отправился туда грешником – грех был в моем сердце. Нелли опиралась на мою руку, но даже ей я не сказал ни слова по дороге. Мы вошли; она нашла нужные стихи и указала их мне, обратив на меня свой исполненный радостной веры взор. Я же видел лишь Ричарда Джексона и слышал только его громкий гнусавый голос, когда он повторял священные слова за пастором, оскверняя каждое из них. На нем был костюм из дорогого тонкого сукна – на мне фланелевая куртка. Он был богат и доволен жизнью – я голодал и пребывал в отчаянии. Перехватив мой взгляд, Нелли побледнела при мысли о том, что дьявол искушает меня, и принялась горячо за меня молиться.

Постепенно она забыла обо мне и до конца не произнесла ни слова; с залитым слезами лицом она погрузилась в долгую молитву, раскрывая всю душу перед Господом. Церковь почти опустела, а я стоял рядом с Нелли, не желая ее отвлекать и не в силах к ней присоединиться. Наконец она поднялась с колен – лицо ее выражало неземное спокойствие. Она оперлась на мою руку, и мы направились домой через лес, где все птицы притихли и казались ручными. Нелли заметила, что все твари Господни в честь Рождества пребывают в радости и любви. Я же считал, что они притихли из-за мороза; в моем сердце вопреки всему жила лишь ненависть, я был исполнен злобы и не испытывал ни к кому милосердия – и не хотел быть любящим и милосердным. В тот день я простился с Нелли и нашей малюткой и пешком отправился в Падихам. Сам не знаю, как мне удалось получить работу, потому что искушение вернуться к греховной свободе безбожной жизни становилось все сильнее; меня одолевали дурные мысли, словно все дьяволово войско нашептывало их мне, и только чистый образ Нелли и ее молитвы удерживали меня от окончательного падения. Однако, как я сказал, я нашел работу и вернулся домой, чтобы перевезти семью на новое место. Я ненавидел Соули и все же сторал от негодования при мысли, что придется покинуть его, не добившись цели. Я так и остался в числе отверженных, от которых держались подальше приличные люди, а мой враг процветал и пользовался их уважением. Правда, Падихам был не так уж и далеко, на восточной стороне большого холма Пендл-Хилл, милях в десяти от Соули; я решил не падать духом и не оставлять надежды. Ненависти подвластны и не такие преграды.

Я снял дом довольно высоко на одной стороне холма. Из окон был виден черный, покрытый вереском склон, а за ним – серые дома Падихама, над которыми висело черное облако, совсем не похожее на синий древесный или торфяной дымок над Соули. Часто с вершины холма дули сильные ветры и свистели вокруг нашего дома, когда внизу все было спокойно. Я же в те времена был счастлив. Ко мне относились с уважением. Работы всегда хватало. Наша дочь росла и расцветала. И все же я помнил нашу деревенскую пословицу: «Держи камень в

кармане семь лет; переверни его и держи еще семь, но пусть он всегда будет наготове: брось его во врага своего, когда придет время».

Однажды приятель пригласил меня послушать проповедь на холме. И хоть я никогда не был привержен церковной жизни, мысль о молитве прямо под сотворенными Богом небесами сулила какую-то новую свободу, к тому же меня с детства привлекали открытое пространство и свежий воздух. А еще говорили, что в этих проповедях все совсем по-другому, и я подумал, что интересно было бы посмотреть, как это у них устроено; да и о том проповеднике в наших краях шла громкая слава. И вот в один прекрасный летний вечер после работы мы туда пошли. Придя на место, мы увидели столько народу, сколько я не видел никогда прежде: мужчины, женщины, дети, старые и молодые – все сидели рядышком на земле. Их суровые, измученные лица были отмечены заботой, горестями, болезнями, преступлениями против закона. В самом центре в повозке стоял проповедник. Увидев его, я сказал своему спутнику: «Боже правый! Какой маленький, а столько шуму произвел! Да я бы справился с ним одним пальцем». Потом я сел и огляделся. Все глаза были устремлены на проповедника, и я тоже обратил свой взор на него. Он заговорил; речь его не отличалась изысканностью – он говорил обычными словами, которые мы слышали каждый день, о том, чем мы каждый день занимались. Он не называл наши проступки и недостатки ни гордыней, ни суетностью, ни стремлением к удовольствию – нам бы все это было непонятно; он просто и прямо говорил о том, что мы сделали, а потом находил для каждого поступка слово, называл его мерзким, а нас – пропащими, если мы будем продолжать в том же духе.

Лицо его покрылось слезами и потом; он изо всех сил боролся за наши души. Он описал грехи каждого из нас простыми словами, и нас поразило, насколько глубоко он проник в тайны наших сердец. Потом он призвал нас раскаяться и обратился сначала к нам, а затем к Богу с речью, которая многих возмутила бы – только не меня. Мне понравились сила и неприкрытая правда его слов, и в тот час, когда на нас опускался летний сумрак и на небе одна за другой появлялись звезды, словно глаза наблюдавших за нами ангелов, я чувствовал себя ближе к Богу, чем когда бы то ни было прежде. Мы слушали его в слезах и стенаниях; затем он умолк, и наступила тишина, нарушаемая лишь рыданиями и жалобами, и в сгустившейся тьме я различал глубокие голоса мужчин, дрожавшие от муки и умолявшие о прощении, и высокие голоса женщин. И вдруг вновь раздался голос проповедника; ночь уже скрыла его от наших глаз, но голос его звучал нежно, как голос ангела, и рассказывал нам о Христе, умоляя прийти к Нему. Я никогда не слышал столь страстной просьбы. Он говорил так, словно узрел нависшего над нами в плотной тьме ночи Сатану, спастись от которого мы могли, лишь безотлагательно обретя веру; думаю, он и вправду видел Сатану, ведь известно, что тот парит над пустынными старыми холмами, ожидая своего часа, и для многих душ встреча с ним едва не стала роковой. Вдруг наступила тишина, а через некоторое время по возгласам тех, кто был рядом с проповедником, мы поняли, что он упал в обморок. Мы все столпились вокруг него, будто он мог вывести нас на путь спасения; и он потерял сознание от жары и усталости, потому что его обращенная к нам речь была пятой по счету в тот день. Я оставил толпу, провожавшую его вниз, и пошел дальше в одиночестве.

Вот она, истинная вера, которой я жаждал. Для этого слабого, измученного до потери сознания человека религия была подлинной жизнью, он ее выстрадал и всей душой отдался ей. Вспоминая прошлое, я поражаюсь своей слепоте и непониманию того, что было причиной долготерпения и смирения моей Нелли, – ведь я тогда думал, что понял наконец, в чем суть религии, а до тех пор не имел об этом ни малейшего представления.

С того дня моя жизнь переменилась. Я сделался рьяным фанатиком, безжалостным ко всем, кроме тех, кто был мне близок. Будь моя воля, я истребил бы всех, кто от меня отличался. Я отказывал себе во всех земных удовольствиях и по какой-то неподвластной рассудку причине считал, что каждый отказ приближает меня к моей недостойной цели и после долгих поста и

молитвы Бог пошлет мне силы для мести моему врагу. Стоя на коленях у постели Нелли, я поклялся вести чистую и добродетельную жизнь, если Бог услышит мои молитвы и вознаградит меня за это. Я предоставил все Его воле, уверенный, что Он найдет способ сообщить мне ее. Нелли слушала мои страстные клятвы с сокрушенным сердцем и потом долгими ночами лежала без сна, исполненная скорби; я вставал, готовил для нее чай и поправлял ее подушки, не понимая в своем странном и упорном ослеплении, что причиной ее душевных страданий были мои жестокие слова и богопротивные молитвы. Она ведь так и не оправилась от того удара в лесу. Мне неведомо, куда поразил ее камень, но тот случай имел ужасные последствия: у нее стали неметь руки и ноги, а потом она вовсе обезножела и слегла и до конца своих дней больше не поднялась с постели. Так она и лежала, опираясь на подушки, с ее светлого лица не сходила приветливая улыбка, руки вечно были заняты какой-нибудь работой, а наша малышка Грейс передвигала ее и приносила все необходимое. Как бы безжалостно я ни относился к другим, с Нелли я всегда был сама нежность. Правда, в отличие от меня, она как будто вовсе не заботилась о спасении души, и не раз, уходя из дому, я думал, что должен открыть ей глаза, сказать, какая опасность ей грозит и что нужно ее душе; каждый раз я собирался вечером сурово поговорить с ней. Но я возвращался, слышал, как она негромко напевает слова какого-нибудь псалма из тех, что, возможно, утешали святых мучеников, видел ее ангелоподобное лицо, исполненное смирения и радостной веры, и оставлял душеспасительные беседы до следующего раза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.